

Владимир
МАКАНИН

Лауреат премии «Большая книга – 2008»



Кавказский пленный

Владимир Семенович Маканин Кавказский пленный (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3088655

*Владимир Маканин. Кавказский пленный: сборник: Эксмо; Москва; 2009
ISBN 978-5-699-34402-4*

Аннотация

В любом человеке есть художник. Каждый мечтал бы сменить спокойную, размеренную жизнь на страсти и муки творчества. Поэтому непременно в героях книг Маканина читатель открывает частицу себя.

Маканин виртуозно исследует психологию таланта, его наивность и жертвенность, самовлюбленность и авантюризм.

Проза Маканина – чуткий барометр времени. Именно по ней определяется величие эпохи и самостояние личности.

Содержание

За чертой милосердия	5
1	5
2	13
3	19
4	26
5	33
6	41
7	46
Сюр в пролетарском районе	50
СЮР	50
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Владимир Маканин

Кавказский пленный (сборник)

Издается в авторской редакции

За чертой милосердия Повесть

Долог наш путь...

1

2200-й год! Уже сколько лет нет войн, ни больших, ни малых, народы и концерны доверяют друг другу, и гуманистические ценности восторжествовали, но осталась эта чертова секретность, связанная с внедрением технологии! Соперничают, рвут друг у друга куски, мать их! – думал молодой человек, собираясь в дорогу. Он тщательно побрился. Он смотрел на себя в зеркало. – Тс-ссс! – приложил он нарочито палец к губам.

Ему сказали, чтобы он собирался в командировку, не слишком об этом вокруг болтая. Ладно, – пообещал он, фыркнув. Он даже поворчал. На деле же слова начальства (и обстановка некоторой таинственности) его грели. Значит, его ценят. Значит – важно. Он испытывал подъем. А как иначе?.. Жизнь есть жизнь, и вот он, молодой человек, работающий в Москве, талантливый, честолюбивый, летит в командировку на испытательный полигон, расположенный где-то в южных степях; летит туда, создав свой – да, свой! – узел АТм-241, готовый там его внедрить, исполненный уверенности и хорошего тщеславия, как это и положено молодому человеку.

Самолетом он прилетел в один из небольших городов, а уже оттуда специальным вертолетом, где он был единственным пассажиром, прибыл на полигон. Ведомственные тайны и борьба предприятий меж собой слишком в ходу, но когда-нибудь их конкуренция станет излишней, и всех этих секретчиков и засекретчиков, этих бездельников разгонят! – размышлял молодой человек (он, собственно, ощущал секретность пока лишь через одиночество: не с кем поговорить!).

Успех АТм-241 – это успех его самого и его сотрудников, каждому воздастся. Выразится ли успех в укрупнении их отдела? – он не знал и не хотел забегать мыслью вперед. Общество его не забудет, это ясно. Конечно же хотелось славы, он был молод.

Как человек молодой, он пребывал в известном возбуждении уже просто в связи с самим фактом отъезда: уход из привычной колеи в незнакомость настраивал его, быть может, на поиск приключений, а быть может, просто (по генетической памяти) пробуждал в нем молодого человека былых времен, с его состоянием повышенной готовности. Он уже предощущал вспышку чувственности и вдруг подумал, что он ждет, возможно, встречи с женщиной – да, да! у них на юге, в силу секретности региона, люди несколько оторваны от мира, и местные женщины, к примеру, невольно окажутся старомодны, не слишком развиты в сексе (это его возбуждало!), и чудесный старый говор – кто знает! всякая поездка в незнакомые края как рождение. Человек как бы начинает сначала, а начало не может быть без встречи или без женщины, без Адама и Евы, хотя бы в приближенном и приблизительном варианте, – размышлял молодой человек, ощущая в себе не только понятный подъем сил перед предстоящей новизной, но и приятно замирающее сердце. При всем том оставался он внешне корректен и спокоен: деловая поездка.

* * *

К вертолету подкатил защитного цвета, крепкий, с брезентовыми бортами, укороченный автомобиль.

Молодой человек сказал встречающему:

– Да зачем?.. Вещей у меня нет. А тут, как я вижу, – совсем рядом.

И правда, комбинат-полигон был близко, ну, километр, а по такой замечательной степи и по такой погоде хотелось пройти первый километр ногами, пошуршать травой, размяться мышцами после скованного сидения в самолете. В степи все просматривается прекрасно – была хорошо видна защитного цвета ограда-стена, ее четкие несущие столбики и меж ними серые пролеты стены, красивые как раз серостью и обыкновенностью. Которая так естественна в степи и от которой отвык глаз, утомленный яркими красками большого города.

Они все же настояли, чтобы он ехал, а не шел. Гипнотизм дороги. Встречающие хотели даже перехватить его чемоданчик. «Нет-нет. Я сам!.. Да право же, чемодан совсем легкий!» – и впрыгнул, не влез, а легко впрыгнул в машину, энергичный. Но ветер, с запахами полыни и дикой конопли, врывался в открытые вырезы брезента, дыши! – врывался и оведал лицо, и степь была, степь лежала рядом, степь не кончалась. «Всего-то на три дня», – с сожалением подумал он, и кто-то из встречающих, с ним на сиденье рядом, словно ухватив выплескивающуюся его мысль, сказал:

– Вам здесь жить три дня! – но сказал с другой интонацией, мол, придется пожить и потерпеть, если вдруг окажутся бытовые неудобства, сравнительно с большим городом.

Но, конечно, предполагалось, что это только так говорится, и что о нем позаботятся, и что никаких неудобств не будет.

Теперь ограда приближалась, ее можно было рассмотреть. Кирпичная, серая, с облупившейся серой краской. Вид стены, тянувшейся ровно и далеко-далеко. Стена не внушала так уж сразу мысль о строгости и охраняемости, хотя именно ее неброскость, облупленность и очевидная во все стороны очищенность пространства говорили, разумеется, о досмотре. О глазе. О том, что никто тут просто так не подойдет, не поинтересуется, почему облупилась стена и почему это ее не красят. Стена как стена. Вот и ворота, – когда подъехали, стала перед глазами также неброская, сделанная полукругом над воротами надпись, как во всех таких закрытых и засекреченных местах, «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ».

* * *

Домик. Элегантный. Дача с небольшим участком и садом, – сказал он себе мысленно. Что ж, очень приятно. Ага, поодаль еще один такой домик. Всего два. Стало быть, немного людей сюда приезжает. Читать мы умеем. Приезжают сюда редко и только по одному, самое многое – двое.

– Будете жить один, – сказал сопровождающий, мысли шли в параллель, очевидные мысли. – Немного поскучаете...

– Люблю побыть и один, – улыбнулся в ответ молодой человек.

Прошли внутрь. Дача, как назвал ее он, невелика, но опрятна, ухожена. Три комнаты, ковры. Прекрасный письменный стол с набором ручек. Компьютер, конечно. Сверкающая ванная комната – сопровождающий приоткрыл дверь, – смотрите, мол, оцените.

– ...Вы можете заказывать себе еду. Но не думайте, что наши дежурные блюда плохи, напротив. Вы молоды, и желудок, конечно, работает отлично, но, если хотите, приготовят вашу диету, здесь все продумано. Повар, правда, один. Но дока. Будете есть, к примеру, бессолевую пищу и даже не заметите.

Сопровождающий сделал шаг в направлении выхода.

Приостановился:

– Я прощаюсь. Отдохните. Завтра – работа. За вами зайдут в девять утра... А сегодня вы ужинать не хотите? Повар должен знать ваши слабые места, это я так шучу...

Он был уже у выхода и крикнул:

– Холодильник набит соками и вином!

Машина с брезентовыми бортами зашумела, уехала.

Что ж, приняли отлично. Почему бы и нет? На комбинате синтезируется высочайшего класса белок, поступающий затем в пищу и дающий всем нам жизнь. Потому и технология держится в секрете. Ведомственные барьеры и здоровая конкуренция.

Проблема проблем – протеин! Синтезируется говядина или, скажем, свинина по образцам прошлых веков. (Уже почти сто лет, как ни птица, ни рыба и ничто живое не идет в пищу, гуманизм!) Известно, что в дело идут только травы. А остальное, уж извините, секрет. Комбинатов немало, и они, видно, хитро разбросаны здесь по степям – всюду трава и трава, огромные огороженные степные территории. И как же не принять хорошо человека, который внедрит в их законсервированный мир такую штуку, как АТм-241?!

Мысли его набегали легко, даже чуть восторженно. Глаза тем временем осматривали жилье, привыкая к стенам, к гравюрам, развешанным со старомодной навязчивостью на стальных пустотах. Однообразная белизна дня. Что-то в нем вновь напряглось, словно бы готовность к опасности, ожидание. Поймав себя на повторении, он отметил: а-а, память о молодом человеке былых веков, которому, как молодому волку, приходилось хорошо побегать, чтобы существовать. Он улыбнулся, удивляясь цепкости генетической памяти. Нет-нет и прадедовское прошлое вдруг оживает. Движешься в пространстве, а словно бы во времени. Вот ведь!

Перед сном он вышел подышать степью, побродить, прогуливаясь вкруговую возле своего домика.

* * *

Они шли вдвоем в направлении цехов.

– ...нам ваша интегральщина не нужна. А ведь народные денежки вы распыляете, и еще как распыляете! И к тому же от всех этих ваших внедрений конечно же утекает прежняя информация. Вы приехали – и вы уехали, верно? А вот раньше было не так. Если что-то для нас внедрил – здесь и оставайся. Навсегда. А как иначе: любишь науку – вложи в нее свою жизнь, тогда мы тебе и твоей науке поверим. Помогли?! Какая там помощь! Справлялись мы и до вас, справляться будем и после вас, верно?

Молодой командированный понимал, что ворчание старика инженера обычно (и даже типично, старые верные кадры должны ворчать), однако же заметил:

– Но ведь я работал, я несколько лет обдумывал проблему. Зачем вы так небрежны к моей работе?

Батяня (так запросто звали здесь старого инженера) подхватил:

– Да вот я и говорю – зачем человека с места срывать, пусть там себе сидит в городе и думает сколько хочет...

– Ну знаете. Это обидно. Зачем же я тогда трудился? Зачем вообще люди трудятся?

Он почувствовал обиду, даже спазм в желудке – как неприятно! Но, перемолчав и обиду подавив, он ощутил, что желудочный спазм никак не проходит. И тут только сообразил, что причина неприятного самоощущения не внутри, а вовне его. Запах. Что там такое?..

– Не оглядывайтесь. Не суйте нос. Вы увидите все, но непременно по порядку – когда ваш узел будут вводить в действие.

Старики еще и педанты, понятно. Молодой человек скользнул глазами по конвейеру – пять-шесть чанов, подвешенных довольно высоко, медленно ползли и источали запах, запах бил в ноздри, в самую душу, и молодой человек узнал его: запах синтезированной крови; чтобы синтезировать настоящее мясо, надо же синтезировать и кровь. Но запах был резкий, чего-то они там со своей химией перегустили...

– Неприятно? Глотните-ка спиртного, – сказал Батяня, предлагая фляжку.

– Не надо мне вашего спиртного. Я не мальчик. – Молодой человек оттолкнул руку с фляжкой, а тот совал ее ему прямо в нос, возможно, хотел перебить запах.

Но может быть, синтез был не так уж плох. Это ведь как знак качества – известно, что запах крови вызывает агрессивность, и, возможно, я уже под некоторым воздействием, – подумал молодой человек.

– Обратите внимание, – заскрипел вновь Батяня своим ворчливым голосом. – Здесь финиш. Сюда поступает уже полностью готовая продукция (он не сказал *мясо*), видите: висят часы. Они показывают время процесса от включения рубильника. Полное время... Ваша модификация узла должна дать не более сорока секунд удлинения всего процесса. Знаю, знаю. Не перебивайте!.. Я знаю, что у вас потеря времени двадцать шесть секунд. Но я в них позволю себе сильно сомневаться. Пусть будет хотя бы сорок! Пусть!.. Иначе я сам пойду к директору комбината на прием, с тем чтобы вас гнали отсюда. Чтобы на вас написали телегу в вашу организацию и чтобы вам навсегда перекрыли кислород там, где вы, извините за выражение, трудитесь! Чтобы вам ёкалось еще лет десять, понятно?

– Понятно.

– Нет, не понятно!.. Я старый инженер, и я знаю, что такое остановить конвейер. Что такое прервать цикл. А из-за вас мы остановим линию почти на час, пока вмонтируем ваш АТм-241...

Он жестом позвал:

– Идите сюда.

Они вышли (они прошли финишную комнату конвейера, с висячими часами, как бы насквозь). Стало легче дышать, воздух был свеж, чувствовалась близость степи. Вдали стояли оранжевые двухэтажные дома, которые приятно смотрелись сквозь высокую стену зеленых насаждений, дикий виноград или хмель?

Батяня пояснил:

– Там живут наши рабочие. Да, они никуда отсюда не уезжают, чтобы информация не расплылась. Они и не хотят. Здесь у них отличные магазины, тряпки для их баб по самой последней моде.

А какой спорткомплекс! бассейны!.. Ограда цехов? Да эта отрада просто так. Чтобы наши детишки сюда не забежали в погоне за какой-нибудь яркой бабочкой. Чтобы запахи не били им в душу...

– Мы кого-то ждем?

– Да. Сейчас подойдет ваш техник... Так вот: здесь мы, конечно, не можем быть слишком секретны, сосед есть сосед, семья есть семья, все всё знают. И мы, конечно, не запрещаем – мы только не советуем в их семейных разговорах говорить про наших коровок, – Батяня кивнул головой в сторону чанов, – так лучше. Коровка – ласковое слово, но мы не советуем его употреблять.

Молодой человек смотрел на плывущие медленно чаны, они действительно напоминали формой коров, медленно движущихся одна за одной к некоему условному водопое. Подошел инженер-техник (человек, который сделал его узел уже загодя, по переданным сюда чертежам и схемам). Он представился, пожал руку – энергичный человек. Через АТм-241, который молодой командированный так долго вынашивал в замысле, а инженер-техник так долго лепил в своих руках, они оба были как породненные. Как приятели уже

многолетней выдержки. Они с интересом посмотрели друг на друга, словно бы и впрямь ощущая некоторое отдаленное родство не по крови.

– Ворчит наш старенький, а? – Инженер-техник подмигнул командированному, очевидно имея в виду Батяню. И тут же сам смягчил: – Не обращайтесь внимания. Он человек добрый, он добрейший, в сущности, наш Батяня!

Он хотел потрепать старого инженера дружески по плечу, но тот отвел руку:

– Вот еще!.. У нас работа, а не юбилей. – Условившись о часе встречи, инженер-техник ушел.

* * *

Конвейер медленно накатывал чаны-коровки. Возле чанов, одетые в белое, трудились женщины, нажимали на кнопки, выстреливая из ампул строгое число граммов вкусовых эссенций. Женщины были молоды, белая одежда подчеркивала формы – и тут же вновь волна запахов, вновь дурнота и сквозь дурноту восторженное мужское естество. Инстинкт, – сказал себе командированный молодой человек, отмечая, что, как ни отвратителен запах, он дает мужчине почувствовать себя сильным, даже могучим. Неотрывно смотрел он теперь на женское тело в белой одежде. Выбрал одну и смотрел, угадывая формы.

– Да что ж закрышки чанов так плохо прикрыли? – возмутился Батяня. Он снова потряс фляжкой. – Не надо? Глоток-два?.. Ну и слава богу, что не хотите. Запахи по-разному действуют, непривычный человек может и в истерику впасть. Один командированный как раз на вашем месте стоял – начал эту решетку – видите ее? – рвать руками, раскачивал, чтобы унять нервы. Видите? Металл погнул, а такой, казалось, хилак-интеллигентик...

Батяня заспешил – скорее отсюда! (Он глотнул из своей фляжки.)

В цех они вошли в обратном направлении к движению конвейера.

– ...Я видел, как вы глядели на женщину, – вот вам и пример. Деторождение как долго держалось в тайне, как тщательно хранилось. И ведь не только в церквях всех мастей, в миру деторождение тоже куталось в любовь, в чувство. А почему?.. А потому, что никто никогда деторождение не совершенствовал. А как только пошли аборт, таблетки, гормоны, как только пошли по мужским карманам припасенные на вечерок гондоны, извините, я хотел сказать – презервативы, ну, старый человек, простите, простите, – и это было еще задолго до того, как мы успели победить СПИД, а ведь СПИД победили только в прошлом веке! – и пошло-поехало, какая там тайна! Уже сопляки-подростки – вчера слышал своими старыми ушами – толковали о том, что женщина, в первой своей встрече с каждым мужчиной, обязана в постели постанывать, чтобы, не дай бог, не лишить мужчину уверенности и силы...

– Простите. Вы о тайне?.. Или о женщинах? – перебил молодой командированный с иронией.

– О тайне, о тайне! о чем же мы еще говорим! Я всегда доказывал, никаких внедрений, никаких АТм двести сорок хреновых номеров... Сейчас, к сожалению, я только брюзжу, а раньше я умел убедить. Еще пять лет назад я убедил одного молодого ничего не внедрять. Его, как и вас, прислали, а я таки сумел убедить его, и он отказался внедрять, уехал...

– Со мной не пройдет.

– Да уж вижу, вижу. Но его я убедил. И он так и написал в докладной: не желаю работать с вами... К сожалению, других направлений работы на этом свете нет. Пока не придуманы. Так и уехал ни с чем, бедный.

Этакий простяга, ворчащий Вергилий, Батяня вводил в дело:

– И здесь часы. Видите? Здесь тоже будем проходить, когда в конвейер подключится ваш АТм-241. Я немногословен, когда узел обкатывается. У меня два слова: *отлично* и второе мое слово – молчание. Сами понимаете, что оно означает. Оно означает – *хреново*. А *отлично*

– это если график будет выдерживаться с потерей всего сорока секунд, как вы нам и обещали. Знаю, знаю про двадцать шесть секунд! Но кто же в них поверит?

И тут же теплая волна чувства, когда безо всякой паузы этот чертов Батяня произнес:
– Здесь будет поставлен ваш узел. Да, в этой комнате. Можете на миг войти...

Комната средних размеров и совершенно пуста. Лишь по полу через середину комнаты тянулся прозрачный полиэтиленовый шланг, по которому – было хорошо видно – проталкивалась толчками пульсирующая каша будущей пищи. Пустая комната, и в середине ее ниточка шланга. Командированный молодой человек, захваченный волнением, молчал. Знак переживания. Сердце его тихо било, подталкивая кровь чуть ли не теми же пульсирующими ударами. Прозрачный, дышащий, как сосуд, шланг был тонок, не толще девичьей руки у запястья... Да, здесь шланг разрежется скальпелем и в течение одного часа вмонтируется и будет подключен ваш узел, – да, разумеется, шланг войдет в АТм-241 и затем из него выйдет. Вот – всё.

Молодой командированный тут же оговорил условие: во время испытания он хотел бы видеть весь конвейер – он хочет быть убежден, что секунды не потеряются где-то в пути, на чужих стыках.

– Общее время? – Батяня кивнул. – Разумеется, мы его полностью учтем. Но зачем оно вам? Ах, не доверяете. Ладно, посмотрите от и до, но только в третий, в последний день. Сами проследите каждую секунду. Пожалуйста. Да, даже два хронометра. Один у вас будет в руках для маневрирования туда-сюда, а второй, соединенный с общим компьютером, будет стабильно висеть на вашем брюхе – знай поглядывай.

И он вскинул брови, как бы пугая:

– Да-да, два хронометра у вас, но и у меня тоже два!

– Вот и прекрасно, – молодой человек улыбнулся.

– Вот именно. Прекрасно. Два у вас и два у меня. Может быть, с нами пройдет вдоль конвейера и директор комбината. Но не обязательно.

* * *

Она постучала тихо, старомодным робким пристуком, и вошла с некоторой заминкой, когда он сказал: «Войдите», – в руках ее было симпатичное ведерко для мусора и крохотный пылесос. На тонкой шее, как медальон, чуть менее ее ладони коробочка-рация. Вероятно, для связи; администрация в любую минуту может знать, где она сейчас убирает и каково состояние гостевого домика на данный момент. Она убирала в комнатах быстро, легко, иногда отмахивая темные волосы со лба, – она приостанавливалась, двигалась. Он стоял у окна: все еще длилась та не оформленная чувством минута, когда она вошла и коротко, скромно представилась:

– Оля.

А он назвал себя.

Она прибирала в общем-то в чистой комнате: вытирала пыль. Пять минут – и вот она вымыла руки, погляделась в зеркало, а затем подала на стол чай на подносе, печенье. И он, конечно, попросил – мол, побудьте со мной. Выпейте со мной чаю. Она присела в кресло, что напротив.

Оба улыбнулись – стало легко. Они пили чай и беседовали.

– А я боялась, что вы старый. Старые пристают...

– А молодые?

Она засмеялась:

– А молодые смущаются.

– Так, как я?

Она кивнула, произнесла что-то невнятное. Он заметил, что сама она тоже смутилась. Он спросил – командированные давно не приезжали?

– Да. Больше полугода...

И тут же добавила:

– Я еще вчера видела свет у вас. Я прибирала в соседнем домике. И подумала о вас.

– А, так это вы были там! Я тоже видел вспыхнувший в окнах свет, на три-четыре минуты, да?

Он чувствовал возникшую взаимную симпатию, пока еще осторожную, сдержанную, однако же требующую и каких-то усилий для продолжения. Лицо ее было несколько простецкое, но приятное... Он продолжал говорить, кажется, игриво и, возможно, пошловато, но именно от волнения, от спутанности чувств, впадая в чужие чьи-то слова. С ней, кажется, происходило то же самое: вдруг вырывался короткий робкий смешок, и тут же она смущалась.

После чая он включил музыку. Негромко. Затем спросил, замужем ли она, она ответила «нет» и одновременно покачала головой: нет. И встала, чтобы уйти, краска бросилась ей в лицо. Он понял, что миг – и он ее упустит. Быстро выключил музыку магнитофона и подошел к ней.

– Вы такая... – начал было он, но она приложила палец к губам. И этим же пальцем вслед указала на находившуюся возле ее нагрудного кармана висячую коробочку рации.

Он понял. Он кивнул – мол, нем как рыба.

И, уже смелый, протянул руки, она легко сделала шаг навстречу. Он даже прикрыл глаза, как подросток. «Какое счастье!» – подумал он и задохнулся. И через час, когда она ушла, повторил про себя: какая удача, какое счастье, как хорошо я нынче засну.

Он уже лег, когда вспомнил, что надо бы позвонить инженеру-технику, раз тот сам не звонит.

– Простите, – сказал он в трубку, – еще не поздно, вы не спите? Я ведь волнуясь. Завтра монтаж нашего узла. Вы еще раз смотрели его сегодня?

– Разумеется!

– М-м... Вот, собственно, и весь мой вопрос. Только это и хотел спросить.

Инженер-техник засмеялся:

– Ну-ну, никаких волнений. Спите спокойно. Узел – чудо. Узел – просто красавец!

В смехе его была не только бодрость и не только желание приободрить – была уверенность. (Это лучше, чем одержимость.) И тогда командированный молодой человек тоже облегченно засмеялся. Повесил трубку. И вспомнил, что сегодня он сладко заснет.

И как раз тут Оля вернулась. Возвращение было неожиданно. Она что-то ему сказала, мол, не уверена, не испортился ли маленький холодильник с закусками... И стояла на пороге. Молодой человек уже понял, что она хочет быть с ним, хочет остаться, но на его лице, по видимому, еще плавало некоторое удивление от неожиданности ее возвращения.

– Не пугайтесь. Я не останусь, – сказала она с тенью обиды.

– Я этого не пугаюсь. Я этого хочу. Я лишь чуть растерялся, – честно признался он.

Оказывается, она хотела ему хоть что-то рассказать о себе, поделиться. Да, да. Ведь хочется иногда рассказать. Они лежали рядом. Любовь их теперь была неспешной. Она почти не стонала, но приятно было более, чем в первый раз, горячка миновала, сошла. Тишина. Ближе к ночи, чем к вечеру. Она рассказывала о себе: наивная, простенькая история о том, как она жила раньше где-то на Украине. Там были подсолнухи, прилетали птицы и клевали подсолнухи в их большие свешенные головы; головы подсолнухов обматывали марлей, но птицы все равно выклевывали свое. Ей было ничуть не жалко подсолнухов для птиц. Птицы прилетали только на заре, когда она, маленькая Оля, спала. Да, она перенесла тяжелое заболевание...

– Какое?

– Я не знаю.

– А в чем оно выражалось?

– Я очень медленно соображала. Я и сейчас такая. Я почти не училась. Я не могла нигде работать...

– Но тебе должны были дать пособие.

– Мне дали. Но я хотела быть с людьми. Я хотела работать, но меня никто не брал...

Наконец взяли сюда.

Он спросил:

– Без права выезда?

– Да.

Она рассказывала, что она привыкла здесь жить и что здесь все-таки с ней рядом люди.

Но иногда ей хочется на Украину.

Ей хочется найти тот домик, где она лежала больная и где за окном были подсолнухи и мальвы.

– Может быть, это было в раннем детстве?

– Д-да, – сказала она, не помня точно.

Он встал, прошел в темноте к холодильнику, взял вина и налил себе. «Выпьешь вина?» – спросил. Она сказала: «Только очень немного. Я от вина делаюсь совсем глупенькая... Ты же знаешь: я болела и не умею думать...» Он выпил, а она все держала свой бокал, придерживая на груди простыню другой рукой. Потом и вовсе поставила бокал на столик.

Она сказала, как ей хочется на Украину, и заплакала. У нее даже сердце щемит, вот здесь. Положи руку сюда, – попросила она. Теперь сюда... и засмеялась негромко, робко: хи-хи-хи-хи.

2

Весь АТм-241 находился уже в комнате: командированный молодой человек впервые рассматривал свое произведение не на чертеже и не в уменьшенном варианте на стенде, а в живом виде – в металле и в пластике, с вереницей прозрачных приводов, которые тянулись один за одним, опрятные, уже вытертые от предохраняющей смазки. Инженер-техник, выспавшийся и веселый, распорядился подготовкой: как всегда бодр. Он с улыбкой кивнул командированному: мол, все в порядке!.. «Это сюда! А это ставь сюда!.. А второй привод поставь-ка тут; да, да, вместе с основанием!..» – руководил он рабочими.

Появился Батяня:

– Доброе утро... Ну? Нравится вам, как работает инженер-техник?

– Очень!

– Еще бы!.. Один из лучших наших специалистов. Граненое достоинство. Он из добровольцев. Из решивших работать здесь всю оставшуюся жизнь. Честно говоря, мне надоели и вербованные, и командированные – уж извините старика, я называю всех вас шушерой... От вас все надо скрывать, прятать, зато ведь и денежек тратится изрядно.

Молодой человек засмеялся:

– Да уж. Засекретились вы будь здоров! Как в прошлые века!

– Вам смешно. А я от этих жмурок-пряток сплю плохо... Кстати, подойдите-ка вот к тому усатому мужчине – заполним подписку о неразглашении.

– Минутку...

Молодой командированный, разговаривая, одновременно внимательнейшим образом осматривал каждый вносимый компонент узла. Взгляд – его лицо вспыхнуло, и вот он уже метнулся к рослому рабочему: «Ставьте! Ставьте!..» – и, обрывая руками оберточную фольгу, всматривался в металл: он ему не нравился. Вместо хромированных сталей банально белесый цвет, неужели дешевка?! Инженер-техник тотчас подошел. Они оба присели над коленным компонентом. «Ага. Испугались?.. Это наш тен-металл!» Инженер-техник постукал пальцем по металлическому овальному срезу, и характерный вибрационный шумок сразу попал в уши.

– Слава богу! – молодой командированный вздохнул с облегчением.

– А вы как думали? Денег не жалеем! – сказал инженер-техник, и рабочие вокруг одобрительно засмеялись.

Командированный вернулся к Батяне.

– Иду, иду! – сказал он тому усатому, кто держал наготове подписку. На большой папке чистый форменный лист. Авторучка. Даже колпачок уже снят, перо дышит тушью.

«Да, денег не жалеют. Богатые. Чем более секретная организация, тем более богатая – это уж во все века так было и есть...» – думал он, а глазами пробежал текст. Обычный формальный текст, но оговорки жесткие – в случае нарушения условий, в случае малейшей утечки информации комбинат присваивает АТм-241 себе, у автора никаких прав, заказная его работа считается неосуществленной, комбинат также вправе в порядке самозащиты добиваться признания автора ненормальным, не только для того, чтобы АТм-241 на все времена стал его, комбината, неотделимой собственностью, но также чтобы дискредитировать всю разглашенную автором информацию. Вправе через суд добиваться того, чтобы его сочли душевнобольным, с вытекающими отсюда последствиями, за которыми организация проследит, прилагая все свои возможности и финансовые средства. «Богатые», – подумал он, подписывая.

Инженер-техник продолжал руководить подготовкой – покрикивал на рабочих. На середине комнаты по-прежнему тихо лежал прозрачный шланг-сосуд с пульсирующей в нем кашицей.

– Смотрите?

– Смотрю.

– Да-а. Вот где-то здесь разрежем и – началось...

Батяня приобнял командированного за плечо:

– Я ворчлив, но, честно говоря, я рад вашему узлу. И запах заметно отбивает, и сорок всего секунд! Знаю, знаю про двадцать шесть!..

Командированного (это получилось само собой) уже подготовили: подвели к мысли, что при внедрении каждый маленький шагок дается колоссальным усилием.

– Мой узел вытягивает из этой кашицы две аминокислоты лишь для того, чтобы запах продукта был лучше?

– Да.

– Все мое искусство и весь мой труд, чтобы смягчить и улучшить запах?

– Разве вы этого не знали?

– Да знал, знал, конечно! – командированный засмеялся. – Обычное приземление идеи.

Батяня стал его хвалить:

– Но у вас и фильтры чудесные. Дело в том, что убиваемое животное выделяет микро-элементы отравы. Не только адреналин – известная самозащита убиваемых. Ваши фильтры помогают частично убрать, очистить.

– Вы так хорошо синтезируете говядину, что умеете повторить микроэлементы убоя. Ах, да! вы же копируете говядину прошлых веков! не можете уклониться от образца?! Если АТм-241 всего лишь песчинка, какова же технологическая мощь вашего комбината!

Он был искренне восхищен, но Батяня прервал его:

– Минутку. Вас зовут.

И точно: инженер-техник держал плато с датчиками и махал рукой.

Теперь командированный уже не отрывался от монтажа. Он поминутно присаживался на корточки (иногда инженер-техник успевал подвинуть ему маленькую табуреточку). Удивительно, когда твоя мысль воплощена! – открытый, немучительный труд! Узел уже казался живым, ожившим, лазерные синхронизаторы готовы были гнать кашицу белка через новенькие сосуды с эластичными прозрачными стенками.

– Но здесь, – голос Батяни, – мы ставим дополнительную апробацию.

Ясно: отражает их интерес, выверяя сотые доли жира. Ни на миг не останавливая процесса, извлекают крошку синтезированного белкового фарша, тут же микроанализ, ЭВМ обрабатывает, и данные – снова в процесс. Тонкость, разумеется, в том, что берется крошка до его АТм-241, а посылаются ее данные в процесс конвейера ниже, то есть сразу после его узла.

– Да ради бога. Пожалуйста, – откликнулся командированный молодой человек как бы с полной охотой и как бы вскользь тут же заметил: – Откуда питается контрольный прибор?

Батяня и инженер-техник замахали руками:

– Из конвейера! Конечно, из общего конвейера! Но это не отразится... Один-два ватта! Мелочи!

Молодой человек согласился и тут, однако, сказал:

– А все-таки сочтите – один ватт? или два ватта?

Они заверили, что будет подсчитана общая затрата энергии – десять комнат с вмонтированными узлами и теперь плюс его, одиннадцатая, комната вместе обрабатывают белковый фарш вплоть до нормы. Комнаты и в них узлы напоминают кишечник с его толстыми и тонкими кишками, в которых жиры поочередно расщепляются, чтобы не ударить слишком

по печени человека, всякого человека, тем более, скажем, диетика. Нет-нет, мясо кусками синтезируется в других комнатах. Но тоже, избавляясь от запахов, пройдет через ваш узел.

Ему показали через стекло: куски мяса проталкивались, иногда становились поперек, но движущая жидкость подталкивала вновь, и с очередным ударом внутреннего пульса кусок разворачивался и (прекрасно глядящийся, вкусный, свежееотрезанный, он так и просился на сковородку или в духовую печь) проползал дальше.

– Все отлично, – сказал молодой командированный.

Батяня хмыкнул: «Хм... еще бы!»

– Единственное, что мне в моей комнате осталось непонятным, – продолжал командированный, – в том углу какая-то коробка. Не распакована даже. Что там?

Батяня вновь хмыкнул, но уже с другой интонацией:

– Хм. Я не могу вам сейчас сказать. Коробка... чуть позже.

Но командированный умел проявить волю. Он передернул плечами: это недопустимо. Что могли принести в комнату? Здесь монтаж. Он отвечает здесь за весь узел в целом...

– Да вы не волнуйтесь так, – заскрипел Батяня. – Это никак не будет подключаться в узел. Это, – он говорил негромко, – это вам сувенир от комбината. Подарок. От директора лично. В случае успешного эксперимента.

– Прекрасно, – сказал молодой командированный. – Но коробку отсюда вынести. Здесь – только дело.

* * *

– Я хочу, чтобы ты разделась.

– Я и так раздетая.

– Но сколько можно лежать под простыней.

– Но... но зачем?

Она удерживает простыню и частью все-таки прижимает ее к себе.

– Тогда уходи, – говорит он. – Я так не могу, ты меня расхолаживаешь.

Еще придерживая простыню, обиженная, она начинает подыматься с постели, где лежала рядом с ним так долго и так тепло. Уходит. Он дает ей три-четыре секунды (он знает, что всегда успеет встать и нагнать, хоть бы и у дверей). Но он не сомневается, что ей, с ее бедным интеллектом, не выдержать обиды ухода, – и точно: всхлипывая, она возвращается к постели и стоит возле. Простыня все еще прижата.

Теперь, победивший, он нежен: он осторожно встает рядом с ней, забирает (глядя глаза в глаза) простыню – и затем снова тишина и постель.

– Иди ко мне...

Она плачет:

– Да я все время тут, я тут... зачем ты меня сбиваешь с мысли. Я с тобой. Я и без того. Я никак не понимаю... – И тут ее дыхание сбивается, как и ее мысли. Слова распадаются на отдельные звуки голоса, это еще не стоны, но уже и не слова, а вот теперь уже и стоны.

Смятые простыни. Жар тела. Как шумно дышит. (Она проста даже в своем неумении справиться с дыханием.) А он в малый просвет страсти лежал и уже отдыхал, прикрыв глаза. Расслабление. Осторожно он положил руку себе на сердце – ничего, ничего, не каждый же день и не каждую ночь сердцу такая работа, да уж, сейчас сердца не жалея, наслаждайся, нечего его щадить, пусть потрудится... Он улыбнулся, представив себе природный небольшой насос из мышц, мощно гоняющий кровь по телу. Я молод, – думал он, – какое счастье, что я молод и могу (и хочу) вот так нагружать сердце. Какое счастье!.. Он прислушался вновь к ее дыханию, она все еще нет-нет да и тихо постанывала, остаточное удерживая в себе только что прошедшие минуты. Ему были приятны ее задыхание, дрожь тела и как бы однообразные

повторы в ее чувственных негромких выкриках. Отчасти, конечно, входит в ее работу? или же это от некоторой умственной отсталости? – думал он. Возможно, и то и другое вместе...

Он тронул рукой ее плечо, она тотчас вся сотряслась от прикосновения. Ознобистая дрожь. Была у женщин только в прошлые века. Вот какими были наши прапрапрапрабабки. Он улыбнулся, подумав, что с точки зрения человеческой эволюции он сейчас лежит в постели рядом с женщиной, которая полностью поглощена простотой собственной судьбы, ну, скажем, с женщиной двадцатого или девятнадцатого века. Или даже восемнадцатого!.. Заповедник.

* * *

Звонок прервал его мысль.

– Да, – сказал он.

Инженер-техник сообщил: конвейер предупрежден о завтрашнем подключении узла. Все готово...

– Завтра, в десять часов ровно, в известной вам комнате.

– Нет, – сказал командированный. – Я хочу начать с нулевого цикла. Мне было обещано. Я хочу пройти с хронометрами с самого начала вплоть до моего узла.

– Но вы не увидите подключения АТм-241.

– Есть же синхронный экран.

– Но как же так... ваше детище, момент разрезания конвейера, миг подключения... Неужели вы не хотите видеть это живьем?

– Мне важнее мои секунды.

Пауза. И вот инженер-техник говорит Батяне (ага, там Батяня!) – мол, приехавший настаивает на нулевом цикле. Батяня там мнетя.

Молодой командированный усиливает нажим, вторгается в их переговоры:

– Да! да!.. Я уверен в двадцати шести секундах и не хочу потерять их по дороге. Вы доложите начальству, что потеря сорок секунд, а как только я уеду, скажете, что это вы сами сумели уложиться в двадцать шесть, за что и получите, пожалуй, несколько дурацких коробок в премию! Я эти штуки знаю! – Он, конечно, перегибал, сознательно перегибал.

– Настаивает, – повторил инженер-техник Батяне.

Батяня дал согласие – в восемь утра на нулевом цикле.

На миг в глазах молодого человека повторился вид узла: АТм-241 стоял готовенький, серебристый, слаженный в минуту его ухода. Пусть так. С экрана он будет еще более красив и серебрист. И все-таки как удивительна воплощенная наша мысль, – есть интуитивное подозрение, что, организовав хаос и еще в одном месте сделав из ничего *узел*, мы тем самым улучшили не только природу, но и самих себя. (Упорядочив хаос еще в одном узле, мы упорядочили хаос еще в одном закоулке своей души.) И каждый раз снова эта старинная иллюзия, может быть, награда и дар, а может быть, и вечное проклятье человека – надежда: вечная, всегдашняя попытка взлететь без крыльев.

– ...Но попомните, что на нулевом цикле у нас работают только добровольно. Лучшие наши рабочие – добровольцы.

– Попомню, – сказал молодой человек, кладя трубку и возвращаясь мыслями в комнату (где был он и где была она). «Зациклился старикан на своих добровольцах», – подумал он.

Он сдернул простыню, чтобы увидеть ее наготу, – ночь была со слабым светом месяца. Оля сжалась в комок, поджала колени, рукой прикрыла грудь и заплакала.

– Ну что ты, что ты, – подсел он к ней ближе, обнимая ее и целуя.

На стене над ними абстракция. Абстрактная картина. Изыщная путаница линий и цветных пятен, и РАФАЭЛЬ ЗАНИМАЛСЯ ЭТИМ – подбадривающая всякого творца надпись:

название картины. Скромное такое название. Имитирует возраст, но не вечность. И РАФАЭЛЬ ЗАНИМАЛСЯ ЭТИМ, вновь попадая в глаза, скользнуло со стены, – улучшал запах убоины своим искусством? или занимался любовью?.. Ах да, он занимался и тем и этим. В том и суть, что *и тем и этим*.

* * *

Она рассказывала о себе. Она живет в общежитии. У нее там небольшая квартирка – живет одна. У нее есть две подруги, одна собирается замуж, да, конечно, за местного парня, он бульдозерист.

А еще, оказывается, она ухаживает за коровами, не только убирает в гостевых домиках. Откуда здесь такое количество коров?.. А-а, берут в аренду на сезон. Вероятно, часть огромной территории секретного предприятия используется для выпаса, коровы, слава богу, никому информацию не вынесут. Сыр. Масло. Почти задаром. Небось по контракту с молокозаводом.

– ...Мои коровы всегда чувствуют, что я внимательна. Я их оглаживаю. Я мою вымя. Казалось бы, что тут такого хитрого – помыть вымя. А вот и нет. Тут шлангом не обойтись. Тут обязательно нужны руки. Я прошупываю так мягко. Каждый нарост смываю. Каждый комочек грязи, прилипшего навоза, солому мелкую – солома ведь липнет. И коровы понимают...

– У тебя красивые руки... Да не прячь же, не прячь. Какая ты, право, странная!

* * *

Раздалось характерное пощелкивание. Чип-чип-чип-чип... Кутаясь в простыню, оступаясь, она метнулась с постели к столику, где оставила свою маленькую рацию, темневшую издали, как продолговатая шоколадка. Она включила прием.

– Внимание.

Ей сказали:

– Распорядок на завтра. Вы не занимаетесь уборкой гостевых домиков, вы на мойке коров. Повторите.

– Завтра я не занимаюсь уборкой. Я на мойке коров.

– Все правильно. Как здоровье?

– Хорошее. Спасибо.

– Спокойной ночи.

И вместо отбоя прозвучали несколько тактов из популярной песни.

После сообщения стало ясно, что он и она завтра не увидятся и что (из расчета трех его дней) сегодняшний вечер – последний. Что ж, так – значит так. Он сказал, что выпьет немного вина. Она спросила, не утомительно ли ему перед завтрашним экспериментом, не мешает ли ему она, она ведь сразу уйдет, если он скажет.

– Нет, – сказал он с улыбкой и еще раз ощутил свою молодость.

* * *

– Я привыкаю, – говорила она. В счастливом и легком самоощущении он думал, что Оля говорит (он даже не очень вслушивался) о нем, об их вспыхнувшем кратком чувстве, но тут же рассмеялся, потому что оказалось, она опять говорила о коровах (сентиментальная, она рассказывала ему о своем):

– Так скоро привыкаю к ним. Зову их разными именами. Как в детстве. А когда несколько раз помою, их уже увозят.

– Не держать же их у вас все время.

– Говорят, их загоняют в длинный состав и увозят.

– Если ты так любишь коров, переведись работать на молокозавод.

– Там сложная техника. Я умею только прибрать, помыть... Я в детстве болела, головой болела.

– Хватит об этом.

Он привлек ее к себе.

Глаза ее были полны слез – Оля плакала, не сознавая, что она плачет. Просто стояли в глазах слезы.

– Ну-ну, – сказал он. – Тебе же здесь хорошо, тебя никто не обижает... Посади себе подсолнухи возле общежития. Прямо под окнами. И думай каждое утро о детстве и Украине.

Она обрадовалась – как хорошо он ей подсказал, как это она раньше не подумала о подсолнухах, которые можно самой посадить.

– ... глаза.

– Не такие, как у твоих двух подруг? – он засмеялся.

– Совсем не такие. Неспкойные. Ты умный и такой неспкойный.

Он не переставал улыбаться.

– И тебя это смущает? Мое неспкойствие?

– Нет... Да... Вообще...

Она спуталась и смолкла, как это бывает с день за днем однообразно живущими людьми.

В его сознании, привычном к анализу и к возможности возникновения самых неожиданных вариантов, мелькнула мысль. Впрочем, и ушла, мелькнув.

Все же он спросил:

– Ты правда думаешь, что коров куда-то отсюда увозят?

– Правда.

– Поездами?

– Да.

Но тут он уже опять думал о ее удивительном внутреннем мире, небогатом знаниями, неразвитом и необъемном, но сохранившем в себе всю старину полузабытых психологических изгибов.

– Расскажи, что ты сейчас чувствуешь.

А она ни о чем:

– Мне хорошо. Забыла, где я... Неуютный дом. Смотрю и не вижу. Мне кажется, я буду долго вспоминать...

Она лепетала, лежа с ним рядом; обедненность желаний. Он чувствовал, что он станет, пожалуй, ее жалеть. Бывает. Непредвиденная нагрузка на сердце. Вот так всегда, когда что-то обнажаешь: хочется раздеть, обнажить, увидеть в правде и нагоде, а потом себе же дороже, – отметил он.

Он пошел ее проводить.

Они прошли оба гостевых домика. Слева появилась глухая стена цехов комбината, но, огибая ее, потянулась прогулочная асфальтовая тропа с довольно частой цепочкой фонарей вдоль нее. Три часа ночи. Возник патруль. У них проверили документы.

Асфальтовая тропа, сильнее изогнувшись, выводила к площадке, где угадывались жилые дома. Тут возник в полутьме маленький родник с белой запрудой, мостик через запруду и большая ива возле мостика. Тут они остановились и попрощались. Ива была огромная и старая, ветвистая, и кругом мелкий ивняк, отпрыски матери-ивы.

3

Его пропустили в дверь с номером «ноль», и он попал из коридора сразу в океан воздуха – в огромное пространство скотопригонного двора. Бетонированная арена с кусками лужайки, с настоящей зеленой травой, вероятно часто поливаемой и скоро растущей. Дальше тянулись навесы с конвейерной лентой кормов и отливающей светом высокого качества соломой. Коровы стояли, лежали. Жевали. Мычанье, частое хлопанье ушей, коровы поводили рогами, но еще были величаво спокойны. А уже начался загон.

Коровы словно бы шли сами. Их направляли вмонтированные в бетон маленькие репродукторы, передававшие записанное на пленку бесконечное: «Геть!.. Геть!.. Геть!..» – и отлично записанный свист бича, зачем бить, если можно воздействовать на память. Хлесткий ременный удар-выстрел, близко стоящая корова вздрагивала всем телом, и тут же простое «мать вашу так!..», после которой следовал с великолепными вариациями первоклассный старинный мат. Так что в бетонные коридоры коровы шли сами. Да, сами. Он это ясно видел.

Первыми бежали старые коровы, прожившие жизнь и потому самые покорные и самые приготовившиеся. Мотая стершимся пустым выменем, склонив и рога, и головы, громко и нестеснительно цокали они копытами. С заметно сбитыми ногами, они хропали, но и толкаемые в тесноте, но и припадающие были покорны и готовы, даже старались показать, что их хромота и боль – это ничего, это пустяки, это они перемогут, и пусть, хотя через боль, будет видно, что они первые готовы и смирились со своим концом. Не казалось им и не мнилось, что где-то стоит запасной поезд и что их увезут далеко, где травы будут по пояс и над травой подсолнухи, а солнце неторопливо будет сползать к закату.

По тонкому навесному мостику (специально для наблюдателя) командированный перешел на ту сторону, куда теперь бежали коровы, устремляясь в узкую горловину коридора. Человек был и сбоку, и одновременно над ними. Как и положено быть человеку.

Увлекаемые потоком и общей готовностью, побежали коровы помоложе. Смешивались из разных стад. Группка черных коров с белыми звездочками во лбу все никак не хотела рассеиваться, отчего на повороте к бетонному коридору случилась, нет, не пробка, но словно бы заминка. Черные стояли, даже упирались, пытались еще и жевать траву, выставляя рога. Но общий поток, обтекая их, оттеснял, и отрывал одну за одной – тех, кто с краю, – и увлекал с собой, пока все они, черные, с белой звездочкой во лбу, не втянулись в поток, вполне смешавшись.

Почти под собой, внизу, командированный невольно заметил черно-белую корову, темную, но в белых яблоках – во вспышках белого цвета; в ней чувствовалась стать, совсем не видно усталости. Скорость затягивала всех, затянула, конечно, и ее. И потерялась. Уже ее нет. В рассыпающейся дроби копыт, раскатистой, тысячекратной, где-то брякали и ее копыта. В это время коробочка хронометра, висевшая у командированного через плечо, замигала, ага! – засветился экран, небольшой, величиной с ладонь, однако видимость была прекрасная: отчетливо видны склонившиеся головы инженера-техника и Батяни, они приступали к подключению – командированный молодой человек заметил время, своих секунд он им не даст.

* * *

Бычки, тупоморденькие, розово-гладкие, они-то и упирались, упрямылись, так что и свист бича, и «мать-перемать» вновь зазвучали и были повторены в звукозаписи, на этот раз почти оглушительной; более того, один из двух загонщиков (их было здесь двое; команди-

рованый видел добровольцев теперь воочию) впрыгнул внутрь через ограду и бесстрашно изгонял медлительных бычков, тыча им под ребра пустой молочной бутылкой, которую он, видно, только что выпил.

Стадо втянулось – командированный прошел за ними над одним из коридоров, где коровы вбегали по четыре-пять бок о бок, теперь он находился над большим бетонным залом.

Бетонный настил на полу приотворил свои скрытые поры, крохотные отверстия, из которых ударили вверх тончайшие струйки воды. Различимые издали, струйки напоминали питьевые фонтанчики; но затем ударили сильнее, напористее, снимая со скота дорожную пыль, смывая. Ошметки залежанного помета и солома поплыли по полу. Коровы восприняли воду как добрый знак. Они протягивали морды, пытаясь уловить пульсирующие струи и лишней раз напиться, но, если пить и не удавалось, все равно им было приятно: вода есть вода, а омовение всегда свято. Заблестели глаза. Заблестели влажные рога, отчетливо прочертилась раздвоенность копыт. Но вот струи стали вновь тоньше, почти невесомы – они оглаживали коровьи бока, упруго упирались и, только прорываясь выше, создавали над головами коров искристые фонтаны, на которых играли десятки радуг отраженного и расколотого на составные части света.

Тут из дверцы ограждения появились женщины. В косыночках на голове, в комбинезонах, они легкими шагами прошли мимо коров. Нервничая, коровы выделяют вредные токсические вещества, пропитывая ими свое тело, и потому так кстати рядом с ними молодые женщины, простые и милые – сюда и подбирали самых простых и самых неумствующих, и желательно чуточку отсталых в развитии. Легко находящие контакт с животными, добрые, они проходили мимо коров и вроде бы производили дополнительную домывку, ну, там проследить за выменем, не прилипло ли что к мясистой ткани, провести рукой по боку, погладить, – они шли довольно быстро, в сущности, только касаясь тел и говоря несколько слов безымянным коровам: «Ну-ну, Зорька, Зоренька. Дай вымя... Дай, не брыкайся, ну, Буренка», – мягкие их голоса успокаивали, коровы опять верили, коровы вдруг начинали тянуть морды, тыкали в человеческую руку, в ладонь и сладостно, тихо не столько даже мычали, а помыкивали. Молодые женщины улыбались, в свою очередь без труда слыша коровью душу. «Ну-ну, милая. Хорошо. Вот так хорошо», – говорили они, проходя. Обряд. Десятки добрых морд тянулись вслед, так же было в самом начале их эластичного приручения, тысячелетия назад. А когда молодые женщины прошли, фонтаны тотчас исчезли, в воздухе еще висела радужная игра микропузырей влаги – желтая, синяя, ярко-оранжевая.

Посреди загоняемого стада ему вдруг вновь попала на глаза статная черная коровенка, с белыми вспышками света на боках. Вот ведь и отдельная судьба. Он нет-нет и невольно ее отыскивал. Перетряхиванье памяти. В сочувствии всегда сравнительность. «Чтобы определить скорости других, надо какую-то скорость принять за постоянную», – вспомнил он.

В параллель молодой командированный смотрел, разумеется, на свой небольшой экран – инженер-техник и двое его подручных быстро и ловко подключали приводы, десятки маленьких трубочек и шлангов его узла АТм-241. Батяня стоял там рядом и не спускал глаз с хронометра, оставалось около получаса, не больше. Командированный отметил: полчаса...

Открылось узкое горло бетонного прохода, и омытые коровы прошли опять же сами – наклон пола обеспечивал их ход. Их прошло столько, сколько смогли вместить бетонные комнаты, боксы – вспомнил он словцо. Компьютеры, экстраполируя упитанность, вероятно, следили за чистым живым весом. Датчики сбрасывали данные на релейный щиток, так что в нужную секунду (вес на пределе) опустилась отделяющая створчатая железная решетка – опустилась тихо, бесшумно, да, да, не пугать, все на положительных эмоциях, и Рафаэль занимался этим, – сползла, опустилась, отделив тех от этих. Их (этих) поглотила тьма.

Чтобы их увидеть, следовало отыскать освещенный вход; вход, конечно, существует, молодой командированный скользнул глазами, увидел дверцу. «Боксы, – повторил он уже определенно. – Позапрошлый век... Да и как можно модернизировать то, что все время надо держать в тайне».

* * *

В боксах коровы стояли сравнительно спокойно и свободно. Они ведь шли вольно, не гонимые. Они покачивали мордами, наклоняли мокрые рога. Некоторые вдруг мычали, дружелюбно напоминая о приближающемся времени кормления. Когда струйки их омывали, они с пола сумели отчасти и напиться. Что ж, бывает, люди иногда запаздывают с кормлением, надо и помычать. Некоторые почесывались о хромированные, не дай бог ржавчина, стены боксов.

Командированный со своего верхнего мостика видел сразу несколько боксов, угол зрения позволял захватить около пяти-шести бетонированных загонов. У боксов, в небольших притворах-нишах, несколько человек – глушильщики, все так, как примерно двести лет назад (разумеется, где нет модернизации, нужны добровольцы, но, может быть, в глушильщики шли также за большие деньги).

На табло красная стрела-указатель приближалась к отметке ПОЛОВИЦЫ, один из глушильщиков уже шел туда. Он не должен был спешить. Но как ни спокойно текло время, как ни мало шагов сделал он к рубильнику, биопсихическая волна прокатилась по животным: они поднимали головы, вытягивали морды и застывали, глядя куда-то вверх, может быть, к невидному здесь небу, откуда, как они могли считать, была дадена им жизнь, дадена зеленая трава на лугах, теленок у вымени и луна ночами. Они не знали, к кому обращаться, ни названия, ни даже приблизительного слова. Командированный молодой человек смотрел внимательно: их длинные белесые ресницы не заморгали чаще, их глаза не переполнились, в ободках глаз было чуть влаги, не более чем при обыкновенной просьбе. За краткие (хотя и спокойные) шаги человека к рубильнику в их немигающие глаза входило последнее знание, но и последнее их знание было вполне смиренно.

– Послушайте, – заговорил молодой командированный в свою хронометрирующую коробочку с экраном и рацией. – Послушайте. Ведь давным-давно мы не убиваем животных.

– Это вы так считаете, – хмыкнул в рацию голос Батяни.

– Так считает большинство людей. Огромное большинство.

– Пусть и дальше так считают.

– Разве людей нечем кормить?

– Нечем. Мы всегда убивали и продолжаем убивать. Конечно, есть и синтезированные белки. Но, как ни крути, главные белки – здесь.

– В других странах так же?

– Разумеется. Весь мир устроен одинаково. Мы убивали; и мы продолжаем убивать.

Простите, я занят...

Батяня склонился над датчиками, показывающими, как прошла (как проползла) пробная каша, которая в продукт не войдет, а назначена только для того, чтобы протереть собой стенки АТМ-241. Командированный и точно тут же вспомнил, как в поездках за рубежом была та же секретность, те же уклончивые, иногда двусмысленные ответы профессионалов – всех тех, кто знал процесс синтеза с нулевого цикла.

– Послушайте, – сказал он еще раз. Но невольно сам уже отвел глаза от экрана и теперь неотрывно смотрел внутрь боксов.

Ток!.. Удар энергии был таков, что коровы рванулись вверх – коровы взлетели. Но еще сильнее рванулись наружу и вверх коровьи большие глаза, глаза лопались, словно бы по темени ударили молотком, который мог бы сокрушить бетон.

Коров оторвало от половиц пола почти на метр, и они рушились вниз, уже на лету начиная биться в судорогах. Дергались ногами и крупом, дергались головами и парой рогов, словно они были насекомыми, с легкими и ломкими конечностями.

Наконец судороги стали мелки, тела коров лежали, души, отчаясь, унеслись в общую нашу вечность, а то, что осталось, было лишь игрой нервных волокон, которые, однако, дергались и бились теперь сами по себе, так что на всякий случай глушильщики-добровольцы касались их электрошестами, рты коров раскрылись, развалились, металлические наконечники шестов касались огромных свесившихся языков, с языков стекали ручьи желтых искр. Затем, глушильщики успели отскочить, пол в боксах опустился, и в провалы, по тем же самым хромированным половицам, коровы скользили вниз, как в преисподнюю.

Там был конец, и там было начало. Видно было, как на коровьи ноги набрасывают цепи, подтягивают всю тушу кверху, и вот так, на цепях, башкой и рогами вниз, коровы двинулись в свой последний путь. Казалось, они медленно шли вниз головой, ногами кверху, словно шли они отраженные в чистом пруду, в час водопоя. Они покачивались, провиснув, и это усиливало сходство с движением. Одна за одной, покачиваясь, иногда несильно сталкиваясь, как и бывает у водопоя, отраженно перевернутое стадо входило в ворота цеха. Цепи с крюками, на которых они висели, покачивались все тише. Стадо шло. Оно двигалось к большим корытам. И правда, хотели пить, разинули мертвые рты, и своей тяжестью большие их языки свисали книзу, и только вместо привычной преджвачной слюны с них капала пенная розовая сукровица. Последними шли перевернутые упрямые бычки.

* * *

– АТМ-241 включен в общий конвейер, – констатировал голос Батяни.

А инженер-техник (с экрана), понимая, что командированный за ними неотрывно сейчас наблюдает, махнул ему рукой – мол, все в порядке!

Командированный отметил секунду включения на своем контрольном хронометре. Но, видно, он долго молчал. Видно, никак не выразил в чувстве и в голосе миг включения своего узла, – после щелчка послышался подключенный голос Батяни.

– Только не выдумывайте себе, пожалуйста, что вы соучастник, – сказал он сурово. – Этак мы все соучастники. И те, кто делает из металла половицы и приборы, и те, кто добывает руду, чтобы металл был плавкий. И те, кто кормит тех, кто добывает руду...

Командированного молодого человека раздражило, что его успокаивают, он крикнул:

– Я понял, понял! Обычное дело.

Он видел на экране свой, уже работающий узел, который отфильтровывал токсические вещества из мяса коров, убитых, вероятно, несколькими часами раньше (конвейер работает и ночью). Запах крови, уже вполне узнанно, ударил в ноздри. Запах крови, и тут же инстинктивная мысль: а сам он не в последний ли раз видел сегодня траву и облака в небе?

Он теперь слишком много знает, а ведь они *как в прошлом веке*. И тут же он уточнил: *и как в позапрошлом, и как во все века прежде*. Он вспомнил, как рвался на нулевой цикл и как инженер-техник сказал Батяне, понизив голос: «Он настаивает...»

Страх отступил. (Что-то покачнулось, но устояло.) Убить они его, разумеется, не убьют, но не запрут ли они его тут навсегда? А на работу отпишут, что он сошел с ума. Или что стал одним из добровольцев. С них станет.

А-а, теперь стало понятно, откуда тот запах – и откуда накатывает волной инстинктивный страх.

Туши на цепях (отраженные, перевернутые коровы) подходили к корыту, и человек, весь в защитной коже и в фартуке, чуть наклоняя коровьи морды к корыту, нет, не поил, но, можно сказать, поил их со знаком минус, отраженно поил: ловко отворял им вены. На шее, оттянутой книзу весом головы, отворить вену просто – струя била сразу и с напором, кровь едва только наполняла пустое корыто, а уже подошла «пить» другая корова, еще вена, и еще ударила в корыто красная струя. Шумели кондиционеры, но красный густой запах стоял здесь и затмевал – душновато.

Подписка о неразглашении? Что ж. Я ничего не видел и не слышал, думал он, видя и слыша, как справа и слева по конвейеру отхватывают коровьи уши острыми отвальными ножами (как раз с его стороны мостика росла гора коровьих ушей). Очередной человек конвейера распарывал скальпелем кожу на лбах определенным образом, с тем чтобы следующий на конвейере, просунув руку под кожу коровьей головы, вывернул шейный позвонок и тут же одним, хотя и тяжелым, профессиональным усилием выдернул коровью голову из ее кожи, голую, но с глазами. Белая голая голова вмиг окрашивалась в красное из-за проступающей сплошь сетки капилляров, а едва успевала она окраситься, как ее – уже отдельно и несколько торжественно – вешали на крюк, после чего она отплывала в сторону по специально ответвлявшемуся узколенточному конвейеру голов. Голова за головой. Отдельно и несколько торжественно. Безумный их взгляд говорил, что пусть такой, страшной ценой, но головы вновь обрели взгляд сверху вниз, как и назначено природой, прямой взгляд, а не отраженно-опрокинутый. Но прямой взгляд был и последним взглядом: двуострой лопаточкой выскребали глаза, сбрасывая их и справа, и слева. Гора ушей. Гора глаз. Ничего не видел и не слышал.

А голова на крюке плыла себе дальше, в дальнейшую обработку, где слышался комариный визг пилы, где отпиливались рога и где эти рога уже возвышались очередной горой, словно бы гора кубков, брошенных после пира воинами времен Святослава.

Туши протаскивали через станок, распластывали, рвали ткань, рассекали сухожилия, треск, скрежет – и вот шкура вывернута и стянута, туша стала совсем бела, нага, беззащитна, и только легкий пар исходил от нее и был единственным прикрытием этой стыдливой минуты ухода, напоминавшей минуту первого появления на свет: минуту рождения.

Командированный перевел глаза на экран, где пустота уже сомкнулась, – в подрагивающем изображении вырисовывался полностью смонтированный в общий конвейер, уже трудившийся его узел, его АТм-241.

* * *

– Вы повернули на мостик одиннадцатого направления? – спросил голос Батяни.

– Я не приметил номер, но я повернул правильно. Я иду за кусками мяса, которые ползут к моему узлу по узкому полосатенькому конвейеру.

– Все верно.

Ему осталось идти две или три минуты. Еще поворот. Вот и его комната (уже и навсегда табличка: АТм-241).

– Вы молодец, – сказал Батяня.

– Стараюсь.

А инженер-техник пожал ему руку.

Они были в комнате втроем. Рабочие уже ушли. Узел работал вовсю. Батяня и инженер-техник поглядывали на свои хронометры, командированный – на свой, и так будет, пока и куски мяса, и фарш, проползая узким полосатым конвейером, не подойдут к АТм-241 и не пройдут через, после чего все трое сверят время – их время и его время.

– Можете остаться на комбинате еще на два-три дня. Посмотрите внимательнее. Проанализируйте, – говорил Батяня, в интонации была чуть слышная просьба.

Сейчас его отпустят.

– Процесс в норме, – объявил инженер-техник.

* * *

Сумерки подступили быстро. Юг. Командированный в своем гостевом домике сидел за столом у анализатора и через общий узел старательно вводил туда всю информацию, но думал он сейчас не о работе: он думал о себе самом, так внезапно оказавшемся в опасности. Вот так и попадаются на любопытстве. Отныне и навсегда жить здесь... и нет выхода? (Узнавший про зло обречен?)

Погасив свет, он лег, но затем встал и подошел к окну. Луна. Это хорошо. В легких брюках и в легкой рубашке и без каких бы то ни было запасов с собой (никто не примет за убегающего) он вылез в открытое окно. Ноги мягко ступили в траву. Он шел травой, в лунном свете хорошо различая редкие деревья. Через полчаса быстрого, осторожного хода он был у стены ограждения. Стена уходила влево (прямым отрезком) и вправо (более кругло, заворачивая). Он подошел ближе: старая кирпичная кладка, метра два с половиной, не выше. Подпрыгнув, он без труда ухватится руками за гребень.

Через степь не убежать – погибнешь, но мысль его вот в чем: уйти подальше и там развести костер для пролетающих рейсовых вертолетов. Огонь сверху виден издали.

Если вертолета в эту ночь не будет, что ж, он вернется на комбинат и будет продолжать трудиться, согнув спину за компьютером-анализатором в своем гостевом домике. Час-два пожжет костер в степи – уже хорошо, уже шанс. Разумеется, опасно.

Луна помогла ему увидеть выбоину на гребне стены. Подпрыгнув, он ухватился и подтянул тело. Взобрался. Он сидел на корточках на гребне кирпичной стены (стена оказалась толщиной почти в метр) и глядел вдаль. Луна. Степь. Белесые линии уходили далеко вперед, трава ли степная под луной светилась? или какие-то уложенные ветром полосы?.. Какое немереное, огромное впереди пространство – и все наше! – подмигнул он себе, в том смысле наше, что нам (ему) через него идти. На сегодня он узнал достаточно; пора возвращаться.

Он услышал шорох крыльев. Пролетела степная птица. Где-нибудь в кирпичной выбоине ее гнездо.

* * *

На следующий день он много работал; он старался.

Они – убийцы, они убивают животных, но ведь узел – это его узел. (Его мысль и его труд.) И кстати, чем честнее он работает, тем незаметнее его подготовка к побегу.

Чем более тщательно он доведет свою работу до конца, тем больше у него морального права уйти. Он свое сделает. И точка. В боксах побеленные дверцы. Невинность известки. Когда парни-глушильщики, со своими электрошестами, ходили возле лежащих бычков, те еще шевелились. Глушильщики притрагивались медным (иногда серебряным) наконечником шеста к губам или к языку, если язык вывалился. Мягко так, осторожно, нет-нет, никаких всаживаний, лезвий, крови брызжущей, никакой корриды. Притронулся к языку, бычок чуть содрогнулся – и все...

* * *

Он (наш командированный) уже почти все знает о жизни: он ведь узнал про зло мира. Эта история родилась, можно сказать, из разговоров. Из разговоров с моим приятелем Ильей Ивановичем, обычным инженером, работавшим в обычном НИИ.

* * *

Илья Иванович не переносил, когда человеку, или животному, или какой-то птице было больно. Нам всем видеть такое неприятно, но мы в минуты переживания попросту закрываем глаза (прямо или косвенно), а Илья Иванович глаз закрыть не умел, так что и жить, и переживать ему, бедолаге, было невыносимо.

Студентами мы жили с Ильей в одной комнате, с нами жил еще третий. Помню, на нас однажды (причины не помню) напал хохот, мы громко, во всю молодую мочь смеялись, а Илья повалился даже на кровать и, лежа на спине, болтал ногами. Мы гнулись от хохота пополам, а Илья дрыгал ногами и хохотал. Казалось, он бежит по воздуху.

Когда мы повзрослели и наши пути разошлись, в каком-то приятельстве Илья Иванович и я остались – впрочем, в приятельстве достаточно отдаленном. Мы могли не видеться годами; каждый жил свою жизнь.

И то, что он стал болезненно нетерпим к чужой боли, я узнал сравнительно недавно, незадолго до его смерти.

В этом смысле, в смысле болезненности переживания, он был человек особенный, даже уникальный. Если люди (мы) не заметили его смерть, неудивительно. Но то, что его смерти не заметила природа (сама чуткая и ранимая), не отметила каким-нибудь знаком или явлением – вот что, на мой взгляд, несправедливо. Природа не отметила ничем, если не считать лунной ночи. В ту лунную ночь он умер.

* * *

Мы не раз обсуждали с ним то время, когда войн и гражданских уوبيц уже не будет и когда человек перестанет убивать человека даже в быту, обычным ножом или утюгом, и когда гангстеризма тоже уже не будет. Рай, а не время.

Однако как, каким образом будут люди в столь гуманное время примирять со своей совестью (или таить от нее) то, что они, люди, все еще убивают животных ради их мяса, и жиров, и шкур?

Это была одна из любимых его тем.

Обычно мы говорили с Ильей Ивановичем, когда я помогал ему перебраться в больницу – сам Илья или (иногда) его жена просили меня об этом нехитром одолжении, и я его провожал. И ведь о чем-то надо говорить с человеком, когда провожаешь его в больницу.

4

Люди уже сейчас отчасти скрывают и стараются не упоминать, не говорить, скажем, об уничтожении бездомных собак – газеты могут быть заняты чем угодно, но не убиваемыми нами животными. От кого скрываем?.. Разумеется, от самих себя. Есть как бы высокий нравственный сговор – поступать так и вести нашу жизнь так, чтобы человек все меньше и меньше помнил про убиваемых.

Мы ведь почему не поощряем избиение собак на улице и даже убийство одной собаки из охотничьего ружья, когда надо опробовать ствол? Почему так трогательно внушаем своим детям, что собак надо любить – ради собак?.. Вовсе нет. Мы делаем это, как и все, что мы делаем, ради себя. Ради самих себя, дабы не развивать в себе (особенно в детях и подростках) жестокость, которой и без того вокруг предостаточно и которая нет-нет и с убиваемых нами животных оборачивается на нас же.

В одном Ленинграде, по статистике, уничтожено за год 85 тысяч собак, и ведь не для того, чтобы варить мыло. Мыло – не мясо; химия может наделать горы мыла. Но вот чем прокормить все более и более плодящихся собак? Да ведь и санитарные условия как блюсти?.. Так или иначе, в одном только большом городе на Неве убивается в год около 85 тысяч собак и сто с лишним тысяч кошек. Незлая (и совсем не хищная) неумолимость. Кстати, и об этих тотальных ежегодных акциях стараются говорить поменьше.

Но тут, – рассуждали мы с Ильей Ивановичем, – в общем, можно навести порядок. Разумеется, труд и усилия. Упорядочить кошкорождение, селекция, взятое под контроль спаривание – и, глядишь, милых домашних животных будет лишь столько, сколько нам нужно. Ну, скажем, как попугаев. Или как мартышек, которые ведь тоже живут в городе и которых тоже, сколько-то сот, люди держат в своих квартирах из любви, но не дали же им расплодиться до такой степени, чтобы в вагоне метро обезьянки скакали по нашим головам, сдирая шляпы и портя дамам прическу да и косметику.

* * *

Следующий вопрос посложнее, рассуждали мы, – как быть с животными, которые называются коровами? или овцами?

Ведь мы их едим. Мы, правда, стараемся не думать, не помнить об этом. Чем мощнее нарастает наш гуманизм, нравственность, тем более убедительно приходится говорить (хотя бы детям) о добром отношении к животным – и тем более часто приходится закрывать глаза на то, что мы убиваем их и едим их мясо.

Мы уже сейчас убиваем животных почти втайне, в негласной тайне, и тайну загоняем в глубь самих себя (а территориально – вдалеке, за забор, куда-нибудь на окраину города).

* * *

Мы щадим животных, не разрешаем бить собаку на улице и издеваться над кошками или голубями, дабы не нарушить в себе равновесие добра и зла, где чашечка весов добра все-таки, как нам думается, чуть тяжелее и емче. Тысячи новелл и сотни сотен телевизионных фильмов формируют общественное мнение. Ребенок уже с детства знает, что убить собаку – зло, но он не знает, что убить миллион коров – не зло. Чьи же глаза печальнее, собачьи или коровьи? – простой, простенький вопрос.

Но со временем уже не от ребенка, а от взрослого интеллигентного человека предстоит так или иначе прятать, умалчивать, во всяком случае, не совать ему подобные факты убийства животных на глаза. Да, мол, отвечать ему уклончиво, где-то там, кажется, еще убивают коровенок на мясо. Но, кажется, не у нас. Далеко. Где-то и кто-то...

* * *

Истончение ума и психики сделает мысль об убийстве животных нестерпимой. Само осознание тотальной несправедливости (убиение животных, когда люди уже давно не убивают друг друга) может привести к тому, что интеллигентный, чувствительный и ранимый человек попросту покончит с собой, узнав о вопиющем и негласно поощряемом убийстве животных, – ведь и он ел мясо, и он, стало быть, поощрял. Мы ведь всегда и во всем такие (как бы мы ни вопили о любви к озерам и прекрасным рекам и к чистому небу, мы ведь себя жалеем, а не озера и не чистый небесный воздух, себя и себе хотим сохранить, в том-то и дело!).

И именно поэтому настанет пора, когда убийство животных вытеснится из упоминания совсем: с самого детства, и с первых наших шагов вплоть до седин от нас будет скрываться, чье оно, нежное или жестковатое мясо, которое мы так охотно едим.

Тайну мяса станут скрывать. От детей уже сейчас скрывается. Затем наступит черед подростков. А волна самоубийства хрупких юношей – наших детей! – даст нам понять, что развитие производства искусственных белков (с одной стороны) и (с другой) сокрытие и тайна остающихся скотобоен – это лучший путь. Но, конечно, постепенно, постепенно. Сначала приуменьшать цифры, затем лгать и раздувать через средства массовой информации о якобы повсеместном применении искусственных синтезируемых белков, об успехах передовых технологий, о миллионах тонн мяса (неотличимого от натурального), о набитых битком холодильниках.

* * *

И только затем – так же как и с лагерями – круг знающих и лгущих постепенно сужается, засекречивается и (важно!) локализуется в специальные территории за оградами. Они, знающие, все больше и больше не соприкасаются с остальными людьми. Так что процесс сам собой приведет к тому, что уже *никто не будет знать*. Ну, разумеется, будут какое-то время раздаваться шепотки, будут намеки, анекдоты даже. Но постепенно и молва оттеснится. Два-три поколения еще, и... Тишина.

Уже и упоминания не будет, мол, *этого* просто не существует. Нет *этого*. И вот уже люди привыкли и точно знают, что этого – нет. Скотобойни (независимо от того, старомодны они или современно технологичны) все далее и далее будут отодвигаться куда-нибудь в степи. И сам процесс, и участвующие люди, и конвейеры, и привозимый в закрытых вагонах скот окунутся в тайну и сокрытие, как все, что отрицается.

Так рассуждали мы с моим приятелем Ильей Ивановичем по пути в лечебницу. Корпуса больницы, с их кирпичной оградой, по мере приближения шаг за шагом надвигались на нас. Примерно так же на того молодого человека (который из будущего и который так талантливо придумал свой АТм-241) надвигалось из ковыльно-полынной степи кирпичное ограждение комбината-полигона, с надписью по полукругу «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ».

В XXII веке широко и повсюду будет считаться, что коров только доят, получают от их щедрот молоко и сыры, а когда коровы стареют, их оставляют на пастбищах, где они умирают своей смертью. Как люди. Почти как люди. Где-то далеко в степях. А сотни сотен НИИ будут трудиться, чтобы на далеких скотобойнях все более и более уметь отбивать запах живого

адреналина в мясе и в крови мяса. Ибо все более и более растет нравственность людей, и, в параллель ей, от века к веку растет их обостренный нюх на убиение.

И однажды наступит та степень всеобщей нравственности, когда уже просто невозможно сказать друг другу в глаза, как устроен человек на самом-то деле.

Они уже не могут слышать или читать про бойню, им саднит и кровенит, им нехорошо, они могут умереть, их психика не выдерживает.

* * *

И придет тот особенный момент, когда убийство нами животных в пищу будет скрываться, как скрываема в наши дни ракетная воинская часть или как последний потаенный лагерь инакомыслящих-зеков. Что поделать – несовместимость. Тайной станет обычная бойня, которая есть сейчас при каждом городском мясокомбинате... Золотой будет век! Люди не воюют. Люди уверены, что они едят мясо только из синтезированных и частично растительных белков – мясо, сделанное из травы, или мясо, созданное из водорослей моря.

Открытиями новейших заменителей мяса (одно открытие обгоняет другое) полны газеты. Это обсуждается и в правительствах, и просто на улицах. А телевидение в программе новостей каждый вечер демонстрирует целые бассейны, наполненные искусственными белками, штаммами, из которых талантливые мастера (плюс успех технологических процессов) прямо на глазах телезрителей делают, лучше сказать, создают подлинное мясо кусками. (А какая гигиена труда! а дизайн от Миро!)

Да, кусочками. Да, как бы нарезанными. Да, вовсе не отличишь.

* * *

И тут уже сам собой возникает (не может он не возникнуть) молодой человек, придумавший АТм-241, – вступивший в жизнь, веселый, светлый, энергичный, который в первой же своей командировке, любопытствовав чуть более, чем любопытствуют обычно, настоял на том, чтобы следить за возникновением белка с нулевого цикла (никогда и нигде не интересуйтесь нулевыми циклами, начинайте с первого; для того и дадена нам гордая и прямая цифра «1»), – любопытствовав, обнаружил воочию, что здесь убивают.

Более того: убивают и здесь, и в другом, и в третьем месте, – и убивать никогда не переставали, и что все дело лишь в степени тайны.

Разумеется, он был потрясен. Но нет: он не покончил с собой, что было бы слишком простым, – он вернулся в свой гостевой домик, на свою дачу, как он шуточно говорил, и продолжал работу. Анализатор-компьютер, а также рабочий компьютер, приданные гостевому домику, функционировали отменно. На три дисплея молодой командированный мог тотчас вывести любую минуту своего прохода вдоль конвейера. (Включая и свое любопытство. Вот он у боксов. Вот он в разделочном цехе. Ах, не надо было ему высовываться и знать. Жил бы себе и жил.) Так и бывает, весь твой пройденный путь – с тобой.

Лужайки, залитые солнцем. С них он и начал – последние лужайки на огромном бетонированном скотопригонном дворе, где буренки и зорьки щиплют последнюю свою траву (ощипанную уже прежде другими коровами, невысокую, а все же настоящую траву – при повторе на видеоэкране командированный замечает, что им сколько-то подброшено скошенной травы, лежит пучками). И последний раз луч солнца, прежде чем всюду засветится электрический свет коридоров.

– Время – ноль, – говорит сам себе молодой командированный, сделав отметку на индексе видео, а также загнав на ноль секундомер, который он положил перед собой на стол.

Теперь следует найти зафиксированную финишную отметку. Важно – от и до. А далее раз за разом прогонять видеопленку, собирая секунды и полусекунды, потерянные конвейером (но не за счет ввода его узла).

«Здесь? – думает командированный (на видеоэкране возня глушильщиков: добивают). – Нет, рановато».

Он прогоняет пленку дальше. Ага. Едут кары. Один кар ведущий, остальные с приводами. Тянется этакий поездок из каров, управляемый одним человеком в комбинезоне, который восседает на первом каре. Так. Посмотрим, что везем. Маленький поворотливый поездок полон белых и пестрых, подернутых парком, влажных еще шкур. Шкура – как плоский набросок коровы, передает все очертания, вплоть до индивидуальных, скажем чулочки на ногах. Окончателность насилия. Но если переключить на параллельный конвейер, мясо, вероятно, уже обрабатывается... Он переключает: вот оно. По прозрачному проводу проталкивается каша. И одиннадцатый узел уже позади. То, что надо. Фиксируем. Дальнейшее не интересует.

Утомленный (напряжение для глаз) командированный медленно пил вишневый сок со льдом, а затем позвонил Батяне – да, он учтет утерянные узлом секунды, но учтет и те, что утеряны на конвейере.

– Замечательно! Мы будем только благодарны! – закричал Батяня. – Кто, как не вы, сможет заинтересованно сравнить наши потери.

И спросил молодого командированного, хороша ли фонограмма. Да, хороша.

– Может быть, вечером вам что-то нужно? Немножко выпивки? Или хотите пойти на прогулку?

– Нет, спасибо. Буду отдыхать.

Молодой командированный похвалил их анализатор. Он старался не подать и виду. Никакого лишнего общения. Не надо давать им возможность прицепиться к чему-либо и счесть его безумным или нервным. Он будет прост, но будет осторожен. И как только закончит анализ, доложит – вот, мол, и вся ваша работа. Что дальше?..

Он попросил на ужин принести ему хороший кусок мяса. И тут же одумался – не прозвучит ли вызовом?.. Нет, пусть принесут.

* * *

Он вышел на крыльцо. Степь быстро темнела. Он походил возле домика, оглядывая и небольшой сад, и пространство вокруг. Он не даст себя до времени спровоцировать. Он будет дышать степью, будет ходить кругом и никуда далее гостевого дома не ступит ни шагу.

Пришла молодая женщина, Оля. Она обрадовалась и тут же скрыла свою радость – смутилась.

– Вы не уехали?

– Надо закончить анализ материала. Буду еще два дня, но, может быть, и больше. Как получится.

Она стояла и смущалась. Ведь они простились. Она не знала, как теперь себя вести. Не будет ли претензией или навязчивостью, если она опять протянет к нему руки...

– Ну-ну, – дружелюбно сказал он, поняв ее смущение. Снимая напряженность и подойдя к ней, поцеловал. – Значит, мы еще два дня, а может быть, и больше будем вместе.

Она засветилась радостью, сглотнула ком. Радость, которую (боясь ее) она сама то и дело сгоняла с лица, мешала теперь им – молодая женщина была скованна. Несколько нервничая, он раздевал ее, а она то улыбалась, то сгоняла улыбку.

Через час она сказала:

– Мне надо идти. Читают вечерами разные лекции. Мы их часто пропускаем, но сегодня нам шепнули, что ожидается проверка.

– Разве они не знают, что ты у меня?

Он ей не доверял. Он спросил прямо (но ведь он мог иметь в виду уборку его гостевого домика).

– Как?.. как они могут знать? – Она заволновалась.

Она быстро оделась и ушла.

Он посидел, подумал. Нет, он ей не доверял. Но с другой стороны, она, несомненно, наивна, проста, и, если даже за ней наблюдает некое недремлющее око – пусть!.. что они могут из их отношений извлечь? Ну, роман, ну, связь. Ничего особенного.

Он попросил по телефону, чтобы ему принесли кассету с классической музыкой. Его мысли нужен полет. И вина, да, он хочет еще вина.

Машина тут же подъехала, но заказ ему принесла ворчливая старуха.

* * *

Анализ затягивался, всякий анализ бесконечен. Шел уже седьмой день, командированный добросовестно работал, не давая им ни малого повода обвинить его в чем-либо. Он не выходил из гостевого дома. Он крайне просто общался с молодой женщиной – теперь это была постель и милые разговоры, час времени, и он Олю выпроваживал.

Конечно, он думал о побеге. Запасясь водой в легких пластмассовых бутылках, набив ими рюкзак, он может выбраться в степь. Но сколько километров она тянется? куда идти?.. Правда, он слышал обрывок разговора, что здесь у заблудившихся в степи есть верный шанс: пролетает вертолет – и достаточно развести костер, как вертолетчик тебя подберет. Ночью вертолетчик ведет свою насекомообразную машину по курсу и видит костер – ну, ясно, кто-то заблудился, сбился с пути, надо подобрать. Быть может, им вменено подбирать заблудившихся? Вот и спасение.

Но чтобы попасть на путь рейсового вертолета, надо уйти достаточно далеко. Над территорией комбината-полигона вертолеты наверняка не летают. Но, быть может, и обрывок разговора о вертолетчиках, подбирающих заблудившихся людей, – ловушка, двухходовка. Они только и ждут, чтобы уличить его в побеге и в безумии – побежал в голую степь! ну, хорош! побежит ли нормальный человек один через степь?..

* * *

Для более точного учета потерянных секунд он выводил на дисплей и прокручивал видеопленку в обратном порядке, с конца записи – к началу. Хронометрирование в обратном порядке более надежно: подсчитывающий секунды тем самым освобожден от происходящего, сдержан и не сопереживает. Жизнь наоборот. Мясо постепенно превращалось в корову, и коровка щипала траву. А учет шел: секундам безразлично, в какую сторону их подсчитывают.

Весь процесс он разбил на микрошаги. Боковой конвейер – левый дисплей. Затикало время: кашеобразная масса рубленой печени задвигалась по конвейеру назад – она выбросила из себя консерванты (в виде взлетающего порошка), после чего стала цветом ярче и краснее, можно сказать, натуральнее. Опростившись, кашица стала вползать, втягиваясь тонкими струйками, в электромясорубку (на месте выхода), она прокрутилась обратным вращением и вот уже выскочила (в месте входа) цельными кусками печени, которые, осмелев, быстро проскочили под мерно стучащий нож, а после ножа тотчас слиплись, сцепились намертво, образовав огромную, с облаком пара, коричневую печень Зорьки.

– Пока не потеряли ни секунды! – голос Батяни.
Фонограмма, разумеется, давалась в прямом, а не в обратном звучании.

* * *

Молодая женщина вошла к нему не вечером, как обычно, а прибежала, вся запыхавшаяся, в середине дня, когда он работал. «Что такое?» – Он погасил экран дисплея, экономя энергию.

– Я... Я вдруг подумала... Я поговорила с... – Оля запнулась.

Он подошел ближе, приласкал ее – ну? в чем твое волнение?.. Сбиваясь в словах, убогая молодая женщина ответила, что, если он останется здесь еще какое-то время, они могли бы пожениться. Она поговорила с подругами, и они все (все до единой!) сказали ей, что это будет неплохо. Что, если пожениться, – это уже семья.

– Но я же скоро уеду.

– Ну так что же. Значит, я останусь одна, разведенная. Но все-таки я была замужем... Глаза ее светились счастьем.

– Нет, – сказал он.

– Ну пожалуйста. Прошу тебя. – Глаза ее тускнели.

Но тут уж ему следовало быть начеку.

– Нет, – сказал он.

Ушла. Через какое-то время, кажется через час, она сказала ему по своей коробке-рации, включившись в его приемник, – пусть он на нее не сердится. Пусть простит ее. Она совсем тихо повторила, что получилось нечаянно. У нее был такой порыв, пусть он простит.

– Я вовсе не сержусь, – ответил он.

Секундная стрелка обегала свой круг, он в это время загонял на компьютере в желтый вертикальный столбец дисплея первые собранные им отклонения.

* * *

Он позвонил Батяне. Сообщил, что обнаружил еще две с половиной потерянные конвейером секунды. Но это не все. И еще почти четверть минуты на переходах...

– Отлично! – похвалил Батяня.

– Я загнал все на общий компьютер.

– Сейчас же все считаю. У меня запараллеленная программа...

Голос Батяни сменил деловую тональность:

– Послушайте. Вы отлично работаете. Почему бы вам немного не отдохнуть... Приходите к нам. У нас есть общение, мы же не бирюки. Мы, старожилы, в своем кругу умеем повеселиться.

– Спасибо. У меня нет настроения.

Он не хотел общаться. Он хотел общаться разве что с ней.

– Когда я уеду, – сказал он ей в телефонную трубку, отыскав волну ее рации-коробочки, – когда я совсем уеду, ты посадишь подсолнухи, и они будут напоминать обо мне.

– Что?

Пришлось пояснить:

– Утром выглянешь из окна, увидишь подсолнухи и вспомнишь того, кто посоветовал их посадить...

– А-а! – Она благодарно, тихо засмеялась.

Безлунность ночи привела к тому, что, гуляя (он ходил до стены ограждения и обратно), он столкнулся с патрулем. Они прошли мимо него настолько спокойно, что, казалось, они его не заметили. И это в двух-то шагах!.. Увидели и прошли мимо.

Конечно, люди комбината (и он тоже) могут гулять и ночью, не запрещено, но ведь рядом со стеной, экая беспечность! – подумал он. Или они так уверены в том, что степь велика и бескрайна и, стало быть, никто на побег не решится?! Оставалась пока что неясность.

Да что, собственно, такое их патруль? Двое или трое прогуливающихся и спрашивающих твое имя. И это – все?..

Так размышляя, командированный молодой человек пришел к выводу, который уже напрашивался все эти дни, – к выводу, что его никто здесь не удерживает и что он сам никак не соберется уйти.

Он был словно парализован злом.

Если он уйдет из мира, где увидел зло, и вернется в тот мир, где зла как бы нет, что изменится?.. Все они там потребляют (и будут продолжать потреблять; и он с ними тоже) продукты этих же боен: продукты зла. Суть дела глубже, чем уход или неуход. Уйти некуда. После того как он увидел молодцов с электрошестами и ручьи желтых искр, стекающие с бычьих языков, куда он мог уйти?.. Оно будет теперь с ним повсюду, это знание и эта его сопричастность.

Так оно и бывает, что не только он увидел Зло, но и Зло увидело его; увидело и сказало: вот ты. Что-то в молодом человеке словно бы надломилось. Внутренний голос нашептывал ему о его вине. День за днем он продолжал работать.

Он уже не мог бы требовать от Батяни, чтобы тот отпустил его. Он не мог и пуститься в степь, чтобы бежать.

Конечно, если бы вертолет, заметивший ночью в степи его костер, опустился рядом, молодой человек, преодолев завороченность Злом, мигом бы метнулся, вскочил и крикнул зычно: «Давай!..» – на это его хватит, это он сумеет. Он впрыгнул бы в вертолет и крикнул: «Давай!..» Что да, то да, но люди сами должны опуститься к его костру, должны уверить его в своей реальности, в шуме мотора, в горячести воздуха, вздымаемого лопастью винта.

5

Сначала Илью Ивановича помалу раздражает телевидение – рассказы об убийствах, расчлененки в подъездах, закопанные в мусорных баках младенцы и прочая криминальная хроника. Не нравятся ему все больше и бесчисленные алкоголики, сгоревшие в квартирном пожаре по своей вине. Он сердится. Он раздражен. В конце концов, он не желает всего этого знать. Телевизор, по его просьбе, отныне в его доме не смотрят, либо жена смотрит, когда Илья Иванович уже лег спать (но и тут звук приглушен сколько можно). Не ходит он и в кино. Самоограничения временно выручают. Но, конечно, *оно* все равно нарастает; нарастает исподволь, само по себе, и телевидение или кино тут ни при чем.

Следующий шаг: Илье Ивановичу делается не по себе, когда кого-то оскорбляют в троллейбусе, и он совершенно не может слышать, как вопит мальчишка, которому дали оплеуху. (Быть может, дали его родители и, быть может, даже за дело.) Так что с какого-то дня Илья не ездит к знакомым. Илья уже не гуляет по улицам. С работы – и на работу. Но и на стандартном, ежедневном своем пути он видит из окна автобуса раздавленную машиной кошку, перебежавшую, вероятно, неумело улицу этой ночью, или – тоже приметно – стертые в перхоть останки голубя, только головенка торчит; все, видите ли, расплющили, а головенка голубя торчит, смотрит.

Нет, он не может ехать, не может сидеть у автобусного окна, пока голубя не уберут, пока не смоят шлангом или не смоет дождем – («Ну ты подумай! – говорил он мне. – Убивают одни, а смывают другие!»), – ему настолько плохо, что он не может с этого дня ездить на работу, берет больничный. Он – дома. Он – только дома. Прогулки во внутреннем дворе, никаких улиц. Но конечно же и во дворе их дома, где он гуляет, его подстерегает удар боли: он вдруг видит сломанный куст. Да, сломали ветку. Или выдернули куст с корнем. Его ранимой душе хватит, в сущности, и травинки – стебель травинки сломан, на сломе сочится.

Приятель моей юности Илья, Илья Иванович, смотрит на эту травинку неотрывно, род любви, ему делается больно, так больно, что словно бы космический свист врывается в его уши, сердце стучит, бьет, и вместе с болью капля за каплей что-то медленно выжимается, выдавливается из колотящегося его сердца. Желтой вспышкой вспоминается вдруг детство – одна за одной яркие вспышки давнего лета, слезы начинают его душить, спазм в горле ни туда ни сюда, и... и вот Илья Иванович, мой приятель, взрослый человек, скорым шагом через двор пересекает напрямик детскую площадку, затем (еще более торопливо) асфальтовый пяточок у подъезда, быстрее, быстрее домой, дрожь бьет, преследует его в лифте, – вот он наконец в своей комнате, бросается ничком на постель, утыкается головой в подушку, плачет.

Жизнь, люди, окружающий мир – *оно* сработало.

Илья Иванович подавлен; вдруг взвинчен и вновь подавлен – он звонит в клинику, где его прекрасно знают и где его звонку не удивляются, а только просят побыть дома, потерпеть еще день-два, как раз освободится место в привычной ему палате. Конечно, если все так остро и больно, они найдут ему сейчас же палату и место какое-никакое. Хотите сейчас?.. Нет, нет. День-два он выдержит. Спасибо... Звонок сделан. Ему легче. Надвигающиеся тяжелые его дни под защитой. Срабатывает психомеханизм.

Вечером он уже звонит мне. Или некоему Виталию Сергеевичу, еще один его приятель. Он хочет просто поговорить, потолковать со мной – теперь, когда его ранимость на какое-то время прикрыта, Илья Иванович может поговорить и о жизни вообще, и о нашем сложном мире. Да, да, просто поговорить. Теперь, *уходя*, он смелеет, к нему возвращается острота ума, а также самоирония.

– Проводишь меня до психушки? – Он не любит, если его провожают в больницу родные. Ему думается, что, если провожают родные, – это уже льются слезы, уже беда. Не станет же всерьез он считать свое заболевание слишком опасным – ну, нервишки, ну, поплохело. *Головушку надо бы подлечить*. Вот и все. Если провожает в больницу приятель, ясно, что событие не так уж значительно и пугающе.

Через день-два мы уже идем известной дорогой, огибая 16-этажные башни микрорайона. Больница несколько в отдалении. Она за оградой, за хорошей оградой, переделанная (перепрофилированная) из бывшего монастыря. Во всяком случае, когда мы подходим, а идем мы всегда не спеша, распределив нагрузку – он с двумя сумками, и я с большой сумкой (одежда, запас соков), – я вижу хорошо огражденное заведение, психиатрическую больницу. Издали она глядится как крепость, где ранимый человек хочет укрыться от зла, которое захлестывает наш мир.

Каков перевертыш!.. (И соответственно – какова дистанция, как долог путь.) Если тот молодой человек из будущего, создавший АТМ-241, ездил по земле и летал на самолетах над огромными пространствами, залитыми миром, он только и нашел зло заключенным в ограду бойни (нашел его загнанным, запрятанным за стены), то реальный человек нашего века, Илья Иванович, мой приятель, из залитого злом огромного мира только и нашел для себя приемлемой пядь земли, пяточок пространства за стенами больницы. Пятачок, свободный от зла. Туда Илья Иванович и прятался, защищенный там успокаивающими уколами и психотерапией расположенных к нему лечащих его врачей.

У молодого изобретателя из будущего зло оказалось припрятанным на огороженных кусках степи, и убивали там, в степях, только животных (зло, загнанное за ограду). Так что заодно можно представить себе наш будущий лакированный мир – то есть этакое чудо земное (ну, за отдельными пятнышками огороженных исключений).

* * *

Мы подходим ближе; уже видна продуманная протяженность больничных стен, а также их скрепы – старинные башни. Отгороженный и тоже хорошо охраняемый пяточок счастья. Башни (в прошлом, конечно, тоже монастырские) особенно впечатляют. Видали, мол, мы разных нападавших. Устояли. Мол, устоим и теперь.

Крепость. Приятель моей юности, Илья Иванович, хочет, чтобы его растревоженное «я» было защищено и ограждено за этими крепостными стенами, а также за стенами лекарств, квалифицированных врачей и режима. (Нет, на воротах не написано «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ».) У входа в больницу Илья прощается со мной. Он не хочет даже несколько удлинить прогулку, так как побаивается самого себя, боится быть вне этих стен – он и так уж терпеливо и на пределе ждал два дня, пока освободится палата. Ему пора.

Мы ждем друг другу руки. Пока. Не меньше шести недель, – говорит он.

В больнице, в их столовой (последнее, что могло бы его вывести из себя), не будет мясных блюд. Многие из нервных больных не в состоянии видеть даже скромной котлеты, так как путь всякого куска мяса начинается на бойне. И потому для части больничных палат рацион продуман. Илья Иванович как раз в одной из таких палат. Каши, молоко, творог. Овощные супы. Соки и фрукты, если могут, носят родственники.

– Как ты думаешь, они только от меня и от моих соседей по палате прячут свои котлеты?.. или запрет введен по всей больнице?

Он, уже приобщенный, хочет думать, что здесь, за оградой больницы, нет даже вторичных признаков зла, мировой злобы. Он хочет думать, что крепость – это крепость.

– Я слышал, что в этой больнице пища вегетарианская и молочная, – говорю я осторожно.

– Где ты слышал?

В его голосе нетерпение, и я понимаю, что он хочет быть обманутым. И я обманываю его.

– Я слышал, как врач разговаривал с диетсестрой.

– А-а. Понятно.

Ему этого достаточно.

* * *

Мы много с ним говорили о природе зла, о различных проявлениях злобы. Быть может, это выводило Илью из нервозности внутренней во внешнюю: в нервный разговор.

Как-то я сказал ему, что я узнал (или угадал) дрящееся зло еще в те дни, когда я был подростком. Зло протянуто (и переменчиво) во времени, а не в пространстве. А когда я, в свою очередь, спросил его – как ты считаешь, Илья, когда ты понял, что зло есть и что оно длится, что *зло живет*, – он ответил:

– Поверишь ли, я знал это всегда.

– С детства?

– Да, с детства. Даже раньше. Всегда.

* * *

Однажды Илья Иванович был у завуча школы (что-то по поводу своего сына, тогда десятиклассника) – и как раз там был включен телевизор, в кабинете завуча, что ли, или в другом кабинете. И надо же такому случиться, что во время их разговора, обычного разговора завуча и родителя одного из учеников, телевидение стало рассказывать о плохой работе наших мясокомбинатов. Тут-то и показали краешком бойню. Мол, деньги никто не вкладывает. Мол, оборудование как устарело! Животных показали перед включением рубильника. Задранные морды коров в тесноте боксов. Мычание их (дали вскользь и звук, и картинку. Секунд пять. Только чтобы экран был предметен и конкретен). Илья Иванович побледнел. Он вдруг схватился за грудь, словно его пробили насквозь. И выскочил в коридор.

Завуч решил, что ему стало дурно от духоты. Илья Иванович в коридоре, стоя возле урны, блевал, его выворачивало, а затем – даже не умывшись в школьном туалете – он помчался домой. Бежал по улице в распахнутом пиджаке, со сбившимся галстуком (в школу, по сложившейся традиции, приходят одетыми строго, солидно), с запачканным подбородком и трясущимися губами, лысеющий сорокавосемилетний мужчина, – он бежал и нет-нет вскрикивал, словно боль ранения его настигала. Вбежав домой, он рухнул на постель ничком, как делал он всегда в подобных случаях, сбивая опасный накат эмоции. Однако не обошлось: случился первый его инфаркт.

Год спустя, от второго инфаркта, у себя дома, он умер. В лунную для всех нас ночь.

* * *

Он объяснял мне, что в больнице его хорошо подлечивают («глушат душу») и что каждый раз, возвращаясь из психушки, он уже не жалеет живое и гибнущее. Он чувствует себя воином.

Он даже чувствует в себе способность вести вечную войну живых с живыми – а ведь это и значит жить. Он говорил «воином» конечно же с иронией. Возможно, старинное слово казалось ему в такую минуту почти синонимом слова «убийца».

– Да, – сказал Илья, выходя из больничных стен, с их башнями, – я чувствую себя воином. И живу.

* * *

Я тогда же подумал, что все мы, живущие, – воины.

Я вспомнил очень известного, умного тибетского ламу, который сметал сам или велел сметать перед собой пыль под ногами, дабы ни единым своим шагом случайно не раздавить жучка, переползающего ему путь. Лама даже дышал через марлю, чтобы не убивать своей слизистой оболочкой микробов, которые прилипнут к слизистой и погибнут, как только он вдохнет.

Лама чувствовал себя воином – это несомненно. Но хотел быть трусом, трусливым воином, который бежит с поля боя и никого не убьет и не ранит.

Мелькнула мысль, что микробы, вероятно, тоже чувствовали себя воинами, но воинами отважными, готовыми погибнуть в огромном числе и в неравном бою – погибнуть, лишь бы заразить ламу болезнью. А марля на его сухом рте была как защита ООН.

В сущности, и лама, и микробы рвались во взаимный бой. Ведь они жили.

* * *

Мы, собственно, всегда убивали. И это просто удивительно, что мы, воины, все еще не перегрызли друг другу глотки: не перегрызли сами себя. Что-то нас хранит. Ласточкина слюна, слепившая гнездо. Что-то нас укачивает, в нашей огромной детской колыбели, и поет нам, что мы люди, мы люди, мы – люди... Что? или кто хранит нас?

Но и за нашим с Ильей разговором о том, что же или кто же хранит людей, я увидел впереди нас, на улице с двусторонним движением, голубя, раздавленного машиной.

В асфальт его прямо-таки впечатали, и клюв, и лапки. И только немного пуха, отрываемого ветерком, взлетало и напоминало, что плосконый голубь имел когда-то объем. Илью Ивановича, если бы он увидел (а он шел рядом со мной), взлетающий пух привел бы к нервному срыву: Илья не хотел жить, если голубь вот так плоско лежит, а люди идут, машины едут и жизнь продолжается.

Когда машин нет, на некоторое время к впечатанному голубю подлетали другие голуби, не вполне понимая, что случилось с их приятелем, – подлетят, посмотрят и снова взлетают, так как уже нарастает шум новых приближающихся машин, подстроившихся под судьбу. А над раздавленным только пух его тельца, легкие пушинки от ветерка.

Он дымился пухом, как озеро поутру сизым туманом.

Илья Иванович увидел даже раньше меня – конечно же раньше. Он уже минуту как болезненно морщился, потом морщины поползли: боль проходила, проползала по лицу. Он стал глотать ком в горле, словно подавившийся едой. Стал тереть виски. Но успокоился. Мы прошли уже метров сто дальше, и Илья Иванович все повторял, мол, ничего, мол, он держится: он же в эти дни в хорошей форме.

В другое время он просто бы ушел домой, прервав и прогулку, и разговор на полуслове. Он лег бы в постель, обхватив голову, лежал бы и негромко вскрикивал:

– Нннн!.. Нннн!

* * *

Илья Иванович в разводе с женой, хотя живут они вместе. Жена относится к нему по-настоящему хорошо, заботится, помнит о диете, а если он в плохом состоянии, звонит по его просьбе врачам и сидит возле него ночами, держа его, дремлющего, за руку.

Но все-таки она с ним в разводе; они развелись, когда признаки его заболевания были очень остры и жена не понимала, что с ним такое. И развелась в страхе, потому что он многое не разрешал ей есть, не разрешал готовить мясо или рыбу, вырывал из рук нож и прочее и прочее. Разведенный, он живет в отдельной комнате. А жена с взрослым сыном живут в этой же квартире в двух других комнатах.

Сына, впрочем, сейчас нет. Он в армии, танкист. Сын учится на первом курсе института, и, похлопочи родители, запасись кой-какими справками, они могли добиться отсрочки воинской службы или даже вовсе армию обойти. Но жена, испугавшись, что психика сына может развиваться по отцовской линии, посоветовалась с врачами, а те, видно, решили, что с точки зрения наследственности послужить два года и поработать руками-ногами на свежем воздухе парню будет полезнее (в плане его же будущего), – и вот он танкист.

Илья Иванович, давясь словами, было запротестовал, мол, а если Афганистан, где могут убить его сына и где сын будет убивать сам?.. Но его уверили, что из этого призыва в Афганистан не посылают, к тому же юноша светловолос, светло-каштановые волосы до плеч, а светловолосых вообще не посылают в то пекло, так как за ними там ведется особенно прицельная охота. (Расхожее мнение тех лет.)

Так что Илья Иванович грустно умолк. Он дал себя обмануть и утешить – что же еще мог он сделать со своей психикой?.. Но сына и точно в Афганистан не послали.

* * *

Когда нас познакомили, жена Ильи Ивановича протянула мне руку и коротко назвала себя:

– Оля.

У жены Ильи Ивановича роман с врачом районной больницы. Когда у Ильи началось обострение болезни и речь впервые зашла о стационарном лечении, жена целых полгода бегала по тем и по другим врачам, добивалась, обивала пороги, хлопотала. Тогда и возникло чувство к одному из врачей (случай не дремлет), – возникло и все еще длится. Оля – женщина искренняя, и, не умея хорошо припрятать, она стыдится. Илья Иванович болен непоправимо – это ее давит.

Диагноз врачей известен: шизофрения. Но вот ведь какая тонкость: врачи считают, что Илья Иванович болен, и поэтому он не может переносить жестокость мира, в котором живет. (Мы, мол, все живем – и ничего!) Они настаивают, что сначала болезнь, а уж как следствие – ранимость.

* * *

Поддерживая тему неубийства, я как-то сказал ему, что, кажется, представляю себе молодого человека будущих лет – тех далеких лет, когда уже не будет войн и убийств в быту и когда даже коров на мясо будут забивать, скрывая и утаивая бойни где-нибудь в степях, как утаивает лагерь.

Молодого, жаждущего славы человека пошлют в командировку совершенствовать технологию (он не подозревает, что в двух шагах от него обычная скотобойня). Я наскоро рассказал, как будет выглядеть за оградой их комбинат-полигон.

Илью заинтересовало вдруг совсем иное:

– Ты счастливый человек. Ты можешь отделаться от того, что тебя мучит!

Я возразил: я вовсе не отделяюсь. Тем самым, напротив – я погружаюсь.

– Вот именно! – вскрикнул он с жаром. – Ты погружаешься и видишь это изнутри. А ведь изнутри не больно. – Он коротко хохотнул: – Какой ловкач!

Я оценил его выпад. И спросил, уточняя: ты хочешь сказать, что мы сопереживаем, чтобы нам было не больно? мы сопереживаем, чтобы погрузиться и отчасти совпасть с человеком, у которого болит, – чтобы тем самым не видеть его боль со стороны?

Но диалог Илье в ту минуту не давался. Мысль его уже понеслась куда-то вдаль (я скоро понял – куда), обгоняя не только мою логику, но, я думаю, все логики нашего мира. Он замолчал.

После нескольких минут молчания он сказал:

– Послушай. Подари мне этот сюжет.

– В каком смысле?

– Подари!

Я не понимал.

Он повернулся ко мне (мы шли по левой, по теневой стороне их улицы) и, глядя глаза в глаза, заговорил:

– Отдай. Отдай мне это время, этот комбинат, этот их забор, стену высокую с «добро пожаловать»... Отдай мне этого парня, его неведение и затем его прозрение. Отдай мне это *навсегда*. Отдай степь, крупные звезды, запахи!

Не забывая, что Илья, Илья Иванович, приятель моей юности, подвержен неизлечимой душевной болезни, я тихо ответил: «Бери».

И вот тут, и уже надолго, он замолчал, возможно, не ожидавший, что получит свое так просто.

* * *

Спустя, кажется, неделю Илья Иванович сказал мне, что он был там. «Где?» – спросил я.

«Там».

Да, да, он пробрался к тому степному полигону (мысленно, разумеется) и у самой ограды, под стеной, лежал в густой дикой конопле, одуревая от запаха. Когда стемнело, он стену перелез. Перемахнул, как в молодые годы. Да, стена мало охраняема. Илья Иванович без труда прошел по внутренней территории, один раз его окликнул патруль. Но только окликнул.

Была лунная ночь. Была хорошая видимость. Недалеко от стены ограждения светился огонек гостевого домика (второй домик так и пустует), где молодой командированный даже в поздний час работал, не отрывал глаз от дисплея, подсчитывая утраченные или, напротив, приобретенные секунды конвейера. Конвейера, который он обнаружил в первой же своей командировке (и к которому прикипел). Каждый из нас находит такой конвейер рано или поздно. И свой узел. Да, да, именно так, и Рафаэль занимался этим – искусство припудривает и облегчает страдания, искусство – узел высокого дизайнера, разве нет?..

Илья Иванович подошел к домику ближе, с некоторой осторожностью заглянул в окно – командированный работал. Дисплей ярко светился. Представь себе, этот молодой технарь, чтобы подсчитывать секунды без волнения, крутил видеоленту разделки коров в обратном

порядке. Конвейер, но наоборот. (Илья забыл, что я рассказал ему эту подробность, – он был уверен, что он видел. Возможно, он *тоже* видел.) Представь себе, никаких сопереживаний – а секунды тикают, только успевай считать.

Да, из кусков мяса, из хребта и кожи получается обратным ходом живая корова. Вот она смотрит. Огромные карие ее глаза моргают. Помнят ли *эти* (то есть восстановленные обратным ходом видеоленты) глаза своего теленка, луг и пять ромашек по траве вразброс?.. Корова стоит, обмахиваясь хвостом. И солнечный луч лежит на ее боку и на спине. (Тот ли самый луч? – вот вопрос.) И кружится случайно залетевший в кадр шмель, пьяный солнцем.

– Он просто валял дурака. Сидит и балуется видеолентой туда-сюда, – сказал я, слегка взревновал. (Неужели кто-то уже знает моего командированного лучше, чем я.)

Я пояснил:

– Сначала убивал (участвовал в убийстве), а вот теперь воскрешает. Возможно, так рождается искусство. Хочется переиграть, хотя жизнь кончилась.

Илья Иванович засмеялся:

– Балуетесь?.. Ну уж нет! Поверь: он считал секунды. Просто и с холодком подсчитывал, соревнуясь с компьютером.

Илья Иванович не сомневался, что жизнь комбината-полигона теперь уже его жизнь, если уж я ему «это» отдал.

Возможно, так оно и было. Быстро и уверенно и со знанием подробностей говорил он об их жизни. Он рассказывал о мойщиках коров. Он видел их за работой, молодых женщин в косынках. Они шли, когда струйки били в бока коров. Омовение. Не так просто узнать там женщину, ты ведь знаешь, косынка очень меняет лицо...

Он познакомился ближе с этими женщинами, он пошел в гости к кому-то, чистенький дом, цветы в палисаде. Нет, никаких подсолнухов. Добровольцы? – да, видел. Крепкие мужики, выпивают, но в меру. У них бугристые старые руки. Вечером они пели. Они угостили Илью Ивановича. Сидели при луне...

– Люблю луну ночью, – закончил Илья Иванович с улыбкой и уже отчасти с иронией. (Как бы возвращая собеседника в реальность после рассказа о причудливом путешествии.)

И уже с интонацией нынешнего дня (с какой иногда говорят о сюжете кино) предположил:

– А ты не думал о том, что они его теперь, пожалуй, оттуда не выпустят? Нет-нет – не те, кто на комбинате. А как раз те, кто живет во внешнем мире (и кто о бойнях как бы совсем ничего не знает). Они его к себе не пустят. Они за ним никого не пришлют. Именно они. Зачем пускать в мир еще одного человека, узнавшего про зло?

И усмехнулся:

– Что хорошего он принесет в мир?

* * *

Лунная ночь. И ограда. И то, как Илья Иванович легко ее перемахнул. Возможно, он хотел вернуться в пору нашей юности. (Когда он еще был здоров, хотя и раним. Ранимость прежде болезни.) Бывало, что мы забывали взять с собой свои студенческие билеты и по возвращении в общежитие, чтобы не лаяться со стариком вахтером, попросту перемахивали забор. Да, днем. При ярком солнце.

* * *

Убийство бездомных собак тоже входит в человека, то есть входит в Человека. (Даже если он об этом ни разу в жизни не вспомнит.)

Это ведь и есть мы. В нашу этику, как и в наше сознание, не вмещается наше же собственное. Ударить кошку ногой или пнуть собаку нельзя, а сто тридцать две тысячи двести семьдесят кошек уничтожить включением рубильника (статистика одного города за год) можно. В этом – мы.

* * *

Жена Ильи Ивановича. Сказала так коротко: «Оля» – и руку вперед; без имени-отчества. Это чтобы наперед суметь стать жесткой, вдруг я узнаю или услышу (или, может быть, знаю уже сейчас) про ее врача, с которым затяжной роман. Напрямик. И что-то с Ильей про еду. И тоже с затаенной твердостью в голосе, хотя и негромко. Про овощной, кажется, бульон. Тоже ведь не небесная манна. Спросила: а капусте не больно?..

Спросила, но с добротой, потому что Илья улыбнулся. У него даже глаза сверкнули, мол, юмор. Мол, я да ты. Денисьевский цикл. *Вот тот мир, где жили мы с тобою*. И еще – ангел мой, как *ангелмой*. Однозвучие. Нравился ли Тютчев Толстому? Смерть Ивана Ильича.

6

Едва только завидится угловая башня психбольницы, мы оба меняемся – оба уже другие. Мне становится легче, потому что, считай, пришли, и ничего (с точки зрения сопровождающего), что могло бы Илью раздражить, по дороге не случилось. Илье Ивановичу тоже легче – эти стены и эти башни как та таблетка, которую принял, которая уже в желудке, уже запита водицей, вот-вот и подействует. Так приятно переложить свои тяжести на плечи таблетки. Таблетка-башня. Ближайшая к нам башня в верхней своей части порушена.

– Замечаешь, какая эта башня странная? – спрашиваю я, показывая рукой (в другой руке большая сумка).

– Старинная, – ответил он.

* * *

По просьбе Ильи Ивановича я должен был найти у него дома некую его тетрадку с графиком приема лекарств: он сказал, что ему необходимо сделать сравнение и что это важно. Думаю, что его ум инженера попросту требовал какой-то пищи для анализа. Был поздний вечер. Я пришел с его просьбой к его жене, и она, сразу понимая (уже привыкнув понимать его просьбы) и проведя в его комнату, сказала – да, да, пожалуйста, поищите. Я искал, но не нашел. Илья дал мне несколько противоречивых указаний – искать «там», а если нет, то «там», а быть может, еще и «там». Я перетрогал руками все эти «там», смотрел туда и смотрел сюда, вяло топчась в его узкой комнате. Когда заглядывала его жена (Оля дважды предлагала мне выпить чашку чая), отвечал ей:

– Спасибо. Нет, не хочется...

Утомившись от поисков, я все-таки отправился на кухню и выпил чаю, а его жена вместо меня ходила по узкой комнате и тоже искала – и тоже бесплодно. Когда Оля подавала чай, мы разговаривали с ней, как всегда, сдержанно и не касаясь никаких тем – она только улыбнулась, показав письмо, которое прислал сын-танкист.

Звонил телефон, и она говорила с тем самым врачом, близким ей уже больше года, – говорила тем голосом, который почти сразу выдает интимные отношения человека с человеком.

А я допивал чашку чая. После чая, как бы с новым зарядом энергии, я вернулся в его комнату и искал. Заглядывал в книги. Залез под диван. Чуть приотдвинул шкафы, шарил рукой в паутине, перебрал конверты пластинок и... нашел.

Уходя, я выключил, как и положено, в его комнате свет и увидел тотчас в окне луну. Зажав тетрадку в руке, я вперился в льющийся свет. В больнице он вверился таблеткам и врачам и крепким стенам ограды, а ему в его окно в это время – серебристый свет. Ласковое свечение, адресованное Илье Ивановичу, поглощалось сейчас мной. Это был *его* свет, ему принадлежавший, быть может, несший его выздоровление.

* * *

Илья Иванович отпросился у врачей домой на несколько дней.

– Разве тебе полегчало, Илья? – спросила его встревожившаяся жена. (Она лучше других слышала его здоровье и нездоровье.)

– Нет, – ответил он ей (уже дома). – Но я хочу быть здесь. Я хочу быть с тобой. Я хочу пойти на улицу. Я попытаюсь сходить на работу...

– Не опасно ли?

– Мне так хочется, – ответил он даже несколько воинственно. Жена, пересказывая мне, так именно и определила это слово – «воинственно».

И на вторую или на третью, кажется, ночь, вернувшийся, он умер.

* * *

В больнице бы он умер вне зла, потому что врачи его ограждали, накачивая самыми счастливыми препаратами. И даже, если бы он в своей палате умер во сне, там тоже не было зла – препараты бы контролировали даже и самую легкость, окрыленность его последних сновидений.

Он даже со сломанной веткой на обочине не желал примириться. И в его снах не было бы сломанных веток. Зло осталось в стороне.

* * *

Для меня возвращение Ильи домой неясным (неясно – каким? но сомнений нет) образом связано с невозвращением того молодого человека, создавшего АТм-241, в мир, в котором он жил прежде.

Завороженный злом (бойней? узлом АТм-241? своим участием?), он остался на комбинате и там работает.

* * *

... Или же зло настигло Илью Ивановича и там, за стенами, когда здоровенный медбрат дубасил какого-нибудь буйного, бросавшегося своим калом, – ворвавшегося на этаж к ним, к «тихим», открытая дверь, не уследили. «Да хватайте же его!» – мгновенная сценка, много ли Илье нужно!

Я повернулся в постели на другой бок и закрыл глаза: все равно луна была здесь. Я замотал лицо мягким полотенцем и лег – то же самое. Луна стояла в глазах.

Тогда, сдавшись, я подошел к окну: луна источала свет с какой-то решимостью. Лучи давили на глаза, на стекла окон, словно некое поручение было в их светоносности.

Спустя время после его смерти жена Илья Ивановича попросила моей помощи.

Она сначала позвонила, зазвала в дом, «нет, нет, поверьте, мне необходимо поговорить с вами здесь, у нас дома. Я вас очень прошу», – и, когда я пришел, показала мне в шкафу одежду Ильи, попросив сдать ее в комиссионку. Она открыла створки одного и второго шкафа – я и был зван, чтобы видеть, а не только слышать.

Одежды было не слишком много, но все же немало: один костюм, две куртки, отдельные две пары брюк, джинсы, несколько белоснежных сорочек – все, что имеет наш инженер. Илья Иванович большую часть времени последних четырех лет провел либо в больничном халате, либо дома, в теплом домашнем свитере: он не выносил своей одежды, она была в отличном состоянии. И, конечно, я понимал, что за оставшееся надо выручить хоть какие-то деньги, ибо кормилец *заглавный*, как говорили в старину, помер.

Мне не хотелось идти к продавцам. Я вполне мог понять, что сын, куда более плечистый, чем Илья, ни носить, ни сдавать на перепродажу «барахло» не станет. Оставив свой танк, он приехал и был на похоронах десять дней. Забот у него было достаточно. Тоже понятно. Но сын уже уехал, и жена, на мой взгляд, спустя время, могла бы сделать дело сама.

Если жена, или даже бывшая жена, решила вещи умершего снести в магазин, она снести их сумеет, лишней раз дотронувшись до его одежды, до гладкой изнанки карманов теплой рукой. Так подумалось – ведь правил нет, и только внутреннее чувство нам в каждом таком случае что-то глухо нашептывает.

Но едва я заикнулся, мол, мне, как и вам, к продавцам идти не хочется, она вскрикнула: – Как вы можете?! – И выскочила за дверь его комнаты, вся полная гневом и болью.

Возможно, я сделал какой-то промах. Возможно, тут тоже была ранимость, которой я не угадал. Бывает.

Я согласился. Точнее сказать, уже после ее вскрика я знал, что я соглашусь. Я остался сидеть один на один с его шкафом, распахнутым на одну дверцу, нет-нет и поглядывая на свисавшие параллельно рукава пиджака и рубашек. Посидел, вздохнул и помимо воли подошел ближе, был рядом еще и маленький шкаф, где его брюки и джинсы.

Я вынул в один прием, ворохом, и хотел кинуть на диван. Но передумал, надо быть спокойнее. Повесил вновь. И стал вынимать на тремпелях, на «плечиках», как говорили у нас когда-то, – вынимал, вертел на тремпеле туда-сюда перед глазами, оценивал и, если считал, что годится для коммиссионщиков – приблизительно, разумеется, как я еще мог оценить! – складывал на диван.

Там, на их кухне, я услышал ее шаги и льющуюся воду: быть может, в чайник для чая, но, быть может, в стакан для успокоения. Я догадался, что она сюда уже не войдет – это я должен пойти извиниться и сказать, что я согласен.

Я знал, что извинюсь, что ходов мне тут больше нет, но какое-то время я что-то в себе преодолевал. Перебирая его вещи, я старался его видеть. Ведь в последний раз. Вспомнил, как в этом костюме и с этим галстуком он обычно собирался в школу, озабоченный уроками сына. А в этой куртке где я его видел? ага! у них дома, за шахматами! В этой (или в такой же) сорочке он выходил на балкон покурить. Прокручивая видеоленту назад, я неспешно собирал его живого, воссоздавая, насколько возможно, с помощью пиджаков, и брюк, и сорочек, кусок за куском, его жизнь. На какое-то время в комнате, в которой жил, Илья Иванович задвигался, прошел близко, усмехнулся. Сверкнули его глаза.

* * *

Теряя темно-золотой цвет копчения и становясь все белее, возвращались из небытия (из коптильни) очищенные полутуши.

Обратным ходом проскочив распилил, туша из разделенных кусков воссоединялась. Миг – и единая. Целая. И тут же стремительно ее начинали набивать ловкие человечьи руки – вталкивались легкие, пара почек, желудок, связки кишок, огромная печень, – влетало еще более стремительно на свое место сердце. Все органы размещались удивительнейшим образом точно, плотно, без малейшей подгонки и без ощущения тесноты – все на местах. Теперь, начиненная полностью, туша ныряла в станок и была там довольно быстро одеваема.

Словно бы лежа, юнец натягивал на себя тесные брюки, точнее, комбинезон с рукавами, так или почти так на голую тушу натягивалась ее собственная, прилетевшая откуда-то с верха видеоэкрана шкура. И в строгом соответствии с законом (с обратностью закона) учетное клеймо с туши вмиг испарилось, исчезло, а пар, теплый, живой пар туши, стоявший облаком, втянулся прямо на глазах весь под шкуру.

– Минус две секунды. Верно? – сказал-спросил голос Батяни.

Сейчас проверим. Да, две. Две, но почти три... Появилась коровья голова – ее подбросили снизу, как мяч, лови! – успевшая в конце полета обрасти щеками и губами, успевшая вновь начиниться сгустками мозгов коровья голова, безлико смотря, вдруг замерла: тут в

нее разом вклеилась пара глаз. Взлетела следующая голова – еще пара глаз. Происходило тотальное награждение зрением: они прозревали.

А первая голова доползла по ленте конвейера уже до самого края и вдруг снялась и полетела к туше – человек в комбинезоне успел сделать там надрез, показывая, как ей в полете нырнуть и куда пристать. И коровья голова точно выполнила маневр. Срослась.

– Плюс секунда, – голос Батяни.

И голос инженера-техника, который корректировал на своем компьютере:

– Плюс полторы.

У корыт началось обратное вливание крови, тело коровы накачивалось кровью до предела. Нельзя было оставить в корыте ни капли. Последняя струя, втягивая красные брызги и кляксы, вползла в вену, и тут же обратным, но тоже резким движением надрезальщика ткань соединилась: сшилась без шва. И вот на цепях – задним ходом – висящие вниз головой, целехонькие, одна за другой отходили коровы: отраженное стадо уходило в неведомый им пока путь.

Началось их вознесение на второй этаж (это когда под ними подломился пол) – они возносились, взлетали по наклонным половицам, пока половицы под ними не сомкнулись, пол стал горизонтален. И на строго горизонтальной поверхности все коровы улеглись, да, легли до единой; и только тут началась электропляска их воскрешения. Как вихрь. Скачки, буйство тел, судорожный перепляс воскрешенных, взлетанье на метр-два над полом, вправленье передних и задних сломанных ног, преодоление раскоряки убиваемого тела, мотанье рогами – и рев, рев!.. а затем тишина.

Тишина.

Медленное шевеленье, и вот расстановка рядами, бок о бок – коровы стояли, почти не задевая друг друга. В какой-то промельк секунды они обрели жизнь, и с жизнью – сразу порядок. На земле живут только так. Жизнь возвращена. И человек в желтом комбинезоне, с одной помочью через плечо, медленно отходит от рубильника. Человек отводит от рукояти рубильника свою руку. Рука еще протянута, словно бы устремлена вверх – человек-вождь приветствует их новую начавшуюся жизнь.

И сразу же уползает в сторону створчатая стенка бокса, и изо всех боксов одновременно ожившие коровы медленно выходят задом, пятясь и пятясь назад, с тем же смирением в круглых глазах, с каким они шли вперед, на убой.

* * *

Эта партия буренок где-то успела обрасти рогами. И ушами. Ускользнуло, – думал командированный. Надо выгнать на левый экран дисплея боковой конвейер и проследить. Особенно важны (и плохо контролируемы) потерянные секунды на стыке конвейеров. Итак, омовение...

Омовение, но, разумеется, с обратным эффектом: чем более пузырилась вода, чем более радужны и чисты были мелкие струйки, упирающиеся в бока и ребра, взлетающие поверх рогов и фонтанирующие, тем более возвращался на бока коров их помет с бетонного пола. Возвращалась дорожная пыль и грязь, тем более приставала, прилипала к бокам и к вымени ломкая солома, листки травы. Молодые женщины в косынках оглаживали коров обратным движением рук, словно бы против шерсти, но мягко и по-доброму, по-человечески.

И вот, пятясь задами, сталкиваясь крупами, они стали подыматься бетонными коридорами и выходить на скотопригонный двор. Искаженные, обратно произносимые, зазвучали забытые матерные ругательства. Потом «Тьег! Тье-е-э-г!» («Геть! Геть!») – фонограмма тоже прокручивалась теперь в обратном порядке) – и под стихающие крики и мат ожившие

коровы расставлялись там и тут: они с хрустом жевали брошенную им траву, солнечные лучи лежали на их боках, шмель летел, это была сама жизнь, и великая ложь того, что человек может живое создать, как и разрушить, ложь источалась видеоэкраном. Качество изображения было прекрасным, и бегущая строка сообщила о начале отсчета секунд: о сотворении мира.

7

Человек может считаться оставшимся, только когда он пробовал уйти.

Старый, хотя и редкорастущий, кустарник – большое в степи подспорье. Стена ограждения была уже далеко позади, а командированный все более углублялся в степь. Ночь как ночь.

Он отыскал сухой куст, безлистный, крепкий, вырубил его (прихваченным топориком), затем порубил мелко. Костер занялся. Костер потрескивал. Командированный отошел от его жара и смотрел в темное небо, ища меж застывших огней звезд движущуюся огневую точку пролетающего вертолета. Красно-желтый шмель, – подумал он, вспомнив оживших на экране коровенок на скотопригонном дворе.

Теперь следовало запастись терпением. Нет смысла вскидывать глаза к небу каждую минуту. Отойдя в сторону и томительно расхаживая взад-вперед, командированный случайно перевел взгляд и за кустарником, левее, увидел огонь, такой же недвижимый, как и его собственный. Несомненно, огонь еще одного костра.

Он вздрогнул, ведь костер горел совсем недалеко, быть может, там сотоварищ (но, быть может, какая-то патрульно-охранная служба?). Секунду он размышлял. Разумеется, его костер уже тоже замечен. Так что стоит рискнуть и пойти туда самому... Он пошел. Он сделал по степи крюк и приблизился, сначала осторожно, потом смелее – у костра был один человек; стало быть, не патруль.

Командированный поздоровался, назвал себя. Человек у костра также назвался: да, он тоже сюда командирован, да, тоже живет в гостевом домике за стеной, на территории комбината, но только с восточной стороны. Почти ровесники, они оба прибыли сюда из столичного города – такие вот схожие судьбы, существенная разница была лишь в том, что сотоварищ жил здесь давно, около полугода...

– Тоже надеетесь, что кто-то прилетит? – спросил молодой командированный.

– Да. Разумеется. А на что еще надеяться? – ответил тот.

Молодой командированный спросил: неужели за полгода ни один вертолет не пролетал мимо?.. Тот только пожал плечами, мол, как это узнать. Какие-то огоньки по ночному небу двигались. Но редко. Потом он сказал:

– Есть и дольше меня ждут. Уже год ждут и больше года.

Он показал рукой:

– Вон. Посмотрите туда...

Вдалеке были видны еще два костра.

* * *

На следующую ночь, разжегши свой костер и добившись на время стабильного горения, он пошел к другим кострам – костры жгли, как выяснилось, не только командированные, жгли и работающие на комбинате, уже отчасти тяготившиеся своей работой. Среди жегших костер был даже один доброволец.

Говорил он с ними о том же – о надежде. С напором, свойственным новеньким (новые люди всегда настаивают на объединении усилий), молодой командированный пытался их объединить – не проще ли всем вместе, если все они, спеленутые судьбой, столь схожи своей целью и своей надеждой, не проще ли разжечь огромный большой костер?.. Но нет, оказалось, не проще. Его убедили. Именно россыпь огней может побудить вертолетчика насторожиться и заинтересовать спецслужбы, что тут за ночные огни и почему. А один огонь – всего лишь один огонь. Мол, кто-то в степи забрел далеко и греется. Нет уж – каждый должен

развести свой огонь, и поддерживать, и надеяться. Здесь были те, кто многое перепробовал и ждал уже не первый год. Им можно было верить.

Он уже привык видеть другие костерки, то близко, то поодаль. Он привык слышать среди ночи редкие крики степных птиц.

– Приятно вам кушать, – говорил он, проходя мимо костра, где сидел тучный мужчина; это и был разочаровавшийся доброволец из второго цеха.

– Спасибо. Садитесь тоже. У меня вкусно запеклась сегодня картошка.

Присев рядом, командированный разговаривал:

– Не скучаете один?

– Скучаю?.. Пожалуй, нет. На огонь смотреть приятно.

* * *

Часто попадался ему среди ночи семейный человек, суетливый, с охажкой хвороста в руках. Семейный человек шел зажигать свой костер – обычно он всегда опаздывал и вслух бранил жену, которая заспалась и не разбудила среди ночи вовремя. Он ведь просил разбудить его пораньше!.. У него больные ноги (он один из загонщиков в боксы, он загоняет быков, а это вам не коровы! ноги оттоптаны на десятилетия вперед!), но и с больными ногами он идет зажигать.

Молодой командированный присматривался, но видел он все то же: люди, обычные люди. Они просто ждут.

По сути, у всех было одно – они не могли разорвать сложившийся механизм своей привычной работы на комбинате, не могли себя переустроить. неплодородный слой. И пуститься в степь наугад они тоже не могли. Но ведь надеяться они могли.

Некоторые у костров спали. Их можно понять, днем они работали, так что среди ночи, если человек устал, у костра долго не посидишь – сомлеешь, уснешь. Но он узнал ее и спящую – она дремала, завернувшись в платок.

Он тихо разбудил Олю:

– Вот-вот костер погаснет, а ты спишь!..

Она обрадовалась. Сказала, что у нее есть с собой молоко – не хочет ли он выпить?

– Также ходишь жечь ночью костер? – спросил он.

– Редко. Иногда...

– А зачем?

– Не знаю. Все ходят. Значит, надо и мне иногда пойти и жечь огонь.

* * *

Один из глушильщиков как раз собирался у своего костра поспать. Лицо его было знакомо по видеоленте, где он тыкал пикой-электродом в языки агонизирующих коров, отчего сыпались пучки искр. Нам воздается. Сновать весь день меж дергающихся огромных туш – дело тяжелое.

– Мне казалось, тебе нравится твоя работа, – сказал он глушильщику.

Тот плотнее завернулся в тулуп. Бросил в костер ветку. Зевнул.

– Временами нравится, – ответил.

– А потом хочется отсюда уйти?

Тот опять зевнул:

– Разве здесь уйдешь! Степь да степь...

Командированный присел у его огня. Да, зевает. Да, устал. Но ведь тоже ждет.

* * *

Так что следующая встреча (после глушильщика; в ту же ночь) не была слишком неожиданной. Подходя, он увидел, что человек, согнувшийся возле своего костра, дергается. Человека рвало.

– Подбросьте несколько веток, пока я прокашляюсь! – с трудом выкрикнул человек и, вновь скорчившись, мучился, отхаркивал сукровицу.

Командированный узнал его уже по голосу, а когда тот прокашлялся и, наконец распрямившись, сел напротив, командированный убедился вполне, увидев морщинистое волевое лицо: Батяня.

Конечно, можно было ни о чем не спрашивать. Можно было поговорить о ночной сырости, справиться, давно ли такой кашель. Но ведь Батяня радел за производство: он так боялся, что информация расползется или утечет случайно, – и он тоже жег костер.

Командированный сказал:

– Вы-то зачем хотите отсюда улететь?.. Уж вы-то отлично знаете, куда бы ни уехали, всюду будут припрятанные коровьи головы, ползущие по конвейеру, и куски бифштекса с хорошо отбитым привкусом крови. Везде в мире люди едят одно и то же.

Батяня (он еще отирал после кашля лицо) ответил:

– А если мы улетим в иные миры? Вдруг где-то еще есть кислород и жизнь?!

И хитренько засмеялся:

– Э нет!.. Надо надеяться, всегда надо надеяться, – главное, чтобы огонь горел, а смотрите, какой у меня замечательный огонь!

Он сказал с гордостью. Костер у него и правда был неплохой, но хворост не порублен и вокруг беспорядок, сучья и недогоревшие головешки валялись где попало.

– Э нее-еет! – повторил. Глаза его заблестали. – Надежда есть всегда.

Командированный спросил:

– Но если все-таки сказать людям правду, набраться мужества и сказать – и пусть хотя бы на один краткий миг люди сами себя увидят?.. Пусть они увидят, кто они есть. Ну, хотите: я собой рискну. Пусть меня объявят сумасшедшим. Пусть изолируют. Вы можете всюду обо мне кричать, трубить, что я клеветник и прохвост!.. Но, клеймя меня, тем самым все-таки назвать все слова правды – быть может, это принесет пользу?!

– Нет. Никакой, – ответил Батяня уверенно.

– Но почему?

Батяня уже вполне оправился от приступа. Он помешивал угли в костре. Потирал зябнущие руки. Он вздохнул по-доброму, по-домашнему:

– Эх, голубчик!.. Голубчик ты мой.

* * *

Поражало само количество ждущих: целая россыпь огней.

Он спрашивал человека возле костра: а что, если нам все-таки поразмыслить вместе? ну, хоть какой-то опыт ожидания собрать. Тот только пожимал плечами.

Командированный вновь спрашивал:

– Но вы видите огни пролетающих вертолетов?

– Да. Но очень далеко.

– И только в ясную ночь?

– Да. Если туман или просто сумерки, уже ничего не видать.

Он спрашивал о соседях:

– А кто там жжет костер?

– Не знаю толком. Кажется, там старик. Я в прошлом году с ним общался. Старик разжигает костер всегда на одном месте. Правда, сейчас костер немного сместился...

– Может, старик умер?

– Едва ли. Он очень характерно разводит огонь – я уже знаю его костер. Очень низкий дым. С другими дымами я не спутаю.

Но когда командированный подошел к костру, он увидел умершего человека: возможно, только что умершего. Костерок с низким дымом еще горел; понемногу затухал, но горел. Умерший лежал чуть в стороне, завернувшись в одеяло. Незнакомый старый человек с седой головой. (Вероятно, надо сообщить о его смерти.)

Рядом мешок из плащовки, нехитрая еда, запас воды во фляге – он, кажется, собрался углубиться со своим костром подалее в степь.

* * *

До известной минуты молодой командированный и вообразить не мог, что вокруг столько надеющихся и ждущих. (Что столько костров можно увидеть среди ночи, если пройти к кустарникам.)

Теперь он понимал, что это целый мир. Он вдруг почувствовал, что он остро завидует им, завидует не их кострам – у него такой же! – но их спокойствию возле костра. Казалось бы, трезвость мысли как раз у него, у молодого, умеющего взглянуть со стороны, а у них, мол, суета сует. Но все не так просто. Оказывается, они спокойны. О, как они спокойны сравнительно с ним! Они велики, многочисленны и спокойны.

Сюр в пролетарском районе

Повесть

СЮР

Человека ловила огромная рука. Человек этот, слесарь Коля Шуваев, работал в заводской мастерской – скромный слесарек, обычный, не выпивающий часто.

Возвращаясь с завода, рабочие довольно долго ехали в переполненном троллейбусе, а уже на троллейбусной остановке расходились кто куда – Коля поворачивал к общежитию; и там, где ему входить в свою общагу, в подъезд № 3, он оставался на какую-то минуту один. В эту минуту огромная (такая, что Коля мог весь уместиться в ее ладони) рука вдруг хватала его. Коля вырывался, шмыгал в подъезд и бегом, бегом, с колотящимся сердцем подымался к себе на второй этаж.

В их подъезде за входной дверью имелся как бы предбанник, незанятый пяточок пространства, а уже за ним вторая входная дверь вела непосредственно внутрь. Тем самым в предбаннике слева сам собой образовался пустой угол, который, конечно, использовался – там стояли лопаты, метла, а в эти дни туда прибавились после демонстрации флаги, которые парни поставили там наспех на пару дней и которые затем следовало вернуть в профком. Лопаты, метла, а теперь еще и скрученные флаги от частого хлопанья дверью сползали, лежали на полу поперек, и Коля каждый раз боялся, что на бегу споткнется.

Перепрыгивая сползшие лопаты, он стремительно распахивал входную дверь, а рука гналась за ним. Не сумев схватить, рука успевала своим здоровенным пальцем больно поддать Коле в задницу или в спину, словно бы бревном; после такого удара слесарек вбегал по ступенькам наверх, как будто им выстрелили из пушки. Но дома он был уже в безопасности.

Впрочем, в последнее время оказалось, что в собственной комнате ему тоже надо быть осмотрительным. У Колиной подружки Клавы была здоровая привычка спать с открытым настежь окном. (Крепко сбитая женщина, молодая, повар по профессии, много часов возле жаркой плиты – ей даже ночью казалось, что в комнате душно. Коля, напротив, ночью зяб.) В ту ночь Клаву мучила жажда; вероятно, она проснулась, пила воду и вновь открыла окно. Но, может быть, он и сам попросту забыл прикрыть.

Среди ночи Коля почувствовал, что его давят. Он подумал, что Клава, повернувшись во сне, неловко придавила его плечом, но нет, Клава спала отодвинувшись, спала от него чуть в стороне (раскинулась там от жары). И тут же Коля почувствовал, как его придавили огромные два пальца. Рука не могла пролезть в окно, но два своих пальца просунуть вполне могла и ими (каждый палец как подвижное короткое бревнышко) искала его, нащупывала в постели. Вскочив, Коля, схватил первое, что попало ему под руку (Клавин зонтик, с которым она пришла), и ударил, а затем ткнул в один из огромных пальцев. Зонтик не игла, но все-таки достаточно остер, и ткнул им Коля с большой силой и яростью. Нашаривающие пальцы отдернулись. От боли огромный палец подсогнулся и стал уползать в открытое окно, за ним и второй. Рука убралась. Коля стоял у окна. Он еще подрагивал. Он выкурил сигарету, выдыхая дым в ночное окно, и лег наконец снова в постель рядом с Клавой, которая в темноте белела большим своим телом. Слесарек лег к ней ближе и, не в силах себя унять иначе, стал ее обнимать, немного тискать, одной рукой ворошил груди, другую запустил вниз. «Да ну тебя, Колька! Дай же покоя!..» – ворчала она, потом уступила, продолжая спать. Он заснул только под самое утро. Лежал на боку, глаза открыты, думал – как же быть?..

* * *

Рука подстерегла его в обеденный перерыв (он выскочил из мастерской, чтобы забежать в гастроном – у магазина полно народу). Купив, Коля решил, что с продуктами он забежит сначала к себе в общагу, забросит их в холодильник. Но на улице он оказался один. День солнечный, обеденное время, а вот ведь ни души. И непонятен был тот миг и переход (никакого особого мига и перехода тут и не было), когда рука вдруг упала сверху и, прихватив Колю кончиками огромных пальцев, стала душить, сдавливая грудную клетку и перебираясь через его плечи уже к горлу. Взвизгнув, слесарек вырвался, толщ пальцев и некоторая их неповоротливость дали ему возможность ускользнуть посреди пустой улицы. Коля припустил бегом, влетел в общежитие и, прыгая через несколько ступенек, к себе на этаж – в комнату. Десяток купленных яиц был почти весь раздавлен. Буханка свежего хлеба смялась в лепешку, масло (дефицит тех лет) расплющилось и через лопнувшую обертку заляпало и сумку, и левый бок его рубашки. (Вечер – это понятно. Но вот так откровенно, среди бела дня рука никогда прежде не нападала.) Коля минут десять не мог сладить с нервами.

Однако надо было идти в мастерскую. Коля топтался у выхода, ждал, курил, и, только когда сразу трое или четверо ребят, пообедав, повалили из общежития на работу, он пошел вместе с ними. На работе было спокойно. Сдельщики работали не покладая рук. В мастерской Коля поднял валявшийся там металлический штырь. Штырь был полуметровый, довольно тонкий, но в конце рабочего дня Коля дополнительно заточил его на всякий случай. Взял с собой. Ничего. Мало ли куда и зачем идет слесарь с металлическим штырем.

* * *

После работы он зашел к Клаве в столовку, их столовой на ужин выделили сердце да кровь. А мясо, видно, уплыло куда-то на сторону (в чем и доход). «Ишь, внимательный: мяса свежего захотел! Убоинки, а?» – засмеялись поварихи. А Коля ничего не хотел. Просто сказал, что думал. Он сел поодаль, ждал Клаву.

Две большие плиты, а значит, восемь конфорок, поварихи заняли их одновременно – в восемь сковород на огне (в шесть темных, чугунных, послуживших уже лет сто, и в две белые легкие, вполне современные) наливали для жарки кровь. Клава черпала в ведре большой деревянной ложкой и, не выплескивая, осторожно выливала кровь, заполняя каждую сковороду примерно на треть. Вторая повариха рубила лук. Кровь, как известно, лучше жарить с луком, все-таки вкус крови не так шибает в нос. «Но зачем отбивать вкус? Вдруг кто-то любит со вкусом», – говорила вторая повариха. «С луком лучше», – отвечала Клава, продолжая зачерпывать и разливать. Кровь в черные чугунные сковороды вливалась неприметно, как в темноту, а в две другие лилась, ало окрашивая белое дно; от кача сковороды кровь отступала волной, и белизна дна вновь обнажалась.

«Где твой слесарек? Чего скучает?!» – спросили Клаву разговорчивые поварихи, после чего Коле, сидевшему без дела, конечно же подсунули порубить сердце на все восемь сковородок. Клава вынимала сердце той же деревянной ложкой – громоздкое, скользкое и все в стекающей крови. На четыре части рубить было легко, но развалить надвое каждую четвертинку уже надо было стараться. Нож был не слишком остер, куски отползали, но в конце концов Коля порубил достаточно мелко, и вторая повариха, подхватив, ссыпала куски туда и сюда. Плюхнувшись на сковородку, куски немедленно погнали кровь от края к краю мелкими волнами. Огонь сделали сильнее, пошел запах. Стояло легкое марево. И как только дверь на кухне распахивалась, марево со всех восьми сковородок клонилось в одну и ту же

сторону. Дверь прикрывали, и опять кровь курилась ровно; как восемь озер, спокойных и неподвижных, думал слесарек с некоторым интересом.

Пламя сделали жарче, и кровь сворачивалась. Пузыри лопались, пригорая. Восемь озер, как восемь полей сражений, задымились, заволоклись гарью, и было похоже, что после ружейной пальбы вступили наконец в дело пушки.

Час, если не больше, просидел Коля в ожидании, но, когда пришел шеф-повар, выяснилось, что работа в столовой не кончена – девочки остаются, Клава в их числе. Приехали ведомственные деятели: надо кормить. Деньги последнее время даются с трудом. Да, да, снова варить вермишель и рис обязательно, они любят рис. Шеф-повар принес два здоровенных куса говядины, нашлось-таки мясо, сделайте, девочки, им по бифштексу, только не слишком старайтесь, когда будете нарезать порции!

И шеф засмеялся:

– Чтобы нам самим тоже мясо осталось. Понятно?

Было понятно.

Готовить начали заново, дело предстояло долгое (Клава сказала, чтобы Коля ее не ждал – она припозднится, но к ночи, конечно, придет). Коля ушел. Он долго ехал в троллейбусе.

Возле дома было уже темно, и светила одна-единственная лампа над входом в общежитие. Коля уже прошагал темное пространство: все тихо. Он решил, что опасное позади. Он уже стал насвистывать, когда услышал шум воздуха, сильную воздушную волну.

Рука была тут как тут. В полутьме она, вероятно, потеряла Колю, но теперь, опередив его, стремительно влезла в открытую дверь общежития, шарила там, засунув три огромных пальца (обычно ей удавалось просовывать два). Коля приготовил штырь, подумал, не ткнуть ли. Но не решился – боль придала бы руке активность и злость. Было проще проскочить меж шарящих пальцев (рука их то всовывала внутрь, то вновь медленно вынимала – искала вслепую), и Коле бы, конечно, удалось, если бы он чуть смелее прыгнул.

Третий палец, хотя и мешал тем двум пальцам, шарившим в пространстве предбанника, однако тоже там елозил и загораживал. А когда Коля прыгнул, штырь, который он придерживал, каким-то образом в тесноте стал поперек пальцев; Коля запнулся, успел бросить штырь и успел даже проскочить в подъезд, но упал. Огромные пальцы тут же прихватили его за ногу, вытащили наружу, и здоровенный ноготь, овальное матовое зеркало, придвинулся прямо к его лицу. Затем Колино лицо стали вдавливать в это зеркало. Нос, брови, губы – все сплюснулось. Слесарек задергался, но к матовому огромному ногтю его лицо придавливали все сильнее. Пальцам мешали их собственные размеры, а Коля бился изо всех сил, дергался, молотил в воздухе ногами и в конце концов все-таки выскользнул. На четвереньках он бросился к входным ступенькам, в то время как рука, ища потерянное, возила здоровенными пальцами по асфальту совсем рядом. В этот миг Коля увидел свою кепку, упавшую с головы еще в самую первую минуту атаки, – с яростью он вдруг кинулся за кепкой, моя, мол, кепка, подхватил ее, а с ней схватил и штырь, лежавший рядом, и теперь, вооружась, колот и бил, и снова колот большое светло-серое мясо. Из синих ранок хлынули ручьи крови. Рука замерла, пальцы болезненно отдернулись, а Коля, сколько мог сильно, уколол еще. Рука убралась из входа в общежитие – на этот раз она убралась рывком, а Коля в приливе смелости выскочил вслед, размахивая штырем как шпагой. Получив тут же удар, он рухнул в какую-то лужу возле входа, с него вновь слетела кепка.

Но уже миновало – рука убралась совсем. Коля встал. Он поднялся к себе в комнату и там, возле умывальника, смывал грязь с лица, с ободранных в падении колен. А хорошо, что я сунул ей штырем под ноготь, думал Коля, умываясь и все еще подрагивая.

* * *

Поговорить бы теперь, выпив пивка, с Валерой Тутовым – вот чего хотелось Коле. (Валера Тутов был смел, его любили бабы, он запросто общался с соседями-интеллигентами и вообще много чего в жизни знал или хотя бы слышал – к тому же они как-никак кореша. Друг – это друг.) Но Валера Тутов был далеко, был в отпуске. Так что в пустой вечер слесарьку Коле ничего не оставалось, как ждать свою Клаву. Коля вздохнул. Клавка тоже хороший человечек – с Клавой они собирались пожениться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.